ТРОЦКИЙ

МОЙ ПОБЕГ ИЗ СИБИРИ

ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ЕН 171
М 721

БИБЛИОТЕКА ЮНОГО ПИОНЕРА

ИЗ ПОДПОЛЬЯ К ПОБЕДЕ

ЕН171
М 721

Л. Д. ТРОЦКИЙ

МОЙ ПОБЕГ ИЗ СИБИРИ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

БИБЛИОТЕКА ЮНОГО ПИОНЕРА
ИЗ ПОДПОЛЬЯ К ПОБЕДЕ

ЕН 171
М 721

Л. Д. ТРОЦКИЙ

МОЙ ПОБЕГ ИЗ СИБИРИ

(ТУДА И ОБРАТНО)

С предисловием Л. Д. Троцкого
к настоящему изданию

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

1926

ЕН171
М 721

Отпечатано в типографии „Дер Эмес" Москва, Покровка, д. 9, телеф. 2-72-14, в количестве 10 000. Главлит № 6400

Библиотека
Института Ленина
при Ц.К. Р.К.П. (б.)

(1234)
26
3721
36
с1.

сф
12096

1062852

2012

МОЛОДЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

Восемнадцать лет назад, когда написана была эта книжка, в России существовало царское самодержавие, землей владели помещики, фабрики принадлежали капиталистам, а дети в школах обучались молитвам и пению гимна: «Боже, царя храни».

Восемнадцать лет — время значительное для отдельного человека, но в жизни народа это совсем короткий срок. И вот, за этот короткий срок в жизни нашей страны произошли огромные перемены. Трудящиеся взяли в свои руки власть и начали по-иному строить свою жизнь.

Пройдет еще восемнадцать — двадцать лет. Молодые читатели этой книжки станут взрослыми людьми, — и за это время в стране нашей, надо думать, произойдут еще большие перемены. Поднимется вверх народное хозяйство; трудящиеся города и деревни станут жить лучше, чем живут теперь; культура населения, то-есть его просвещение, станет много выше, — и тогда совсем в далекое прошлое отойдет то время, к которому относится эта маленькая книжка. Сибирская пустыня, по которой совершен был побег на оленях, перестанет быть пустыней, а

люди, надо думать, перестанут убегать друг от друга, ибо перестанут преследовать друг друга.

С мыслью об этом лучшем будущем я передаю молодым читателям настоящую маленькую книжку.

Л. Троцкий

19 сентября 1925 г.

ТУДА [1]

(*Из писем*)

3 января 1907 г. Вот уже часа два-три, как мы в пересыльной тюрьме. Признаюсь, я с нервным беспокойством расставался со своей камерой в «Предварилке». Я так привык к этой маленькой каюте, в которой была полная возможность работать. В пересыльной, как мы знали, нас должны поместить в общую камеру,—что может быть утомительнее этого? А далее—столь знакомые мне трязь, суматоха и бестолковщина этапного пути. Кто знает, сколько времени пройдет, пока мы доедем до места? И кто пред-

[1] После разгрома революции 1905 года, торжествующий царизм устроил в сентябре 1907 года комедию суда над виднейшими вождями революционного восстания.

После месячного разбирательства, тов. Троцкий, как председатель Петербургского Совета Рабочих Депутатов, вместе с рядом других революционеров, был приговорен к долголетней ссылке в Сибирь.

В настоящем очерке Л. Д. Троцкий рассказывает о своем пути в ссылку — в далекий Туруханский край (Туда) — и побеге из нее (Обратно).

Очерк приведен с незначительными сокращениями.

Редакция

скажет, когда мы вернемся обратно? Не лучше ли было бы попрежнему сидеть в № 462, читать, писать и—ждать?...

Нас перевезли сюда сегодня внезапно, без предупреждения. В приемной заставили переодеться в арестантское платье. Мы проделали эту процедуру с любопытством школьников. Было интересно видеть друг друга в серых брюках, сером армяке и серой шапке. Классического туза на спине, однако, нет. Нам разрешили сохранить свое белье и свою обувь. Большой взбудораженной компанией мы ввалились в наших новых нарядах в камеру...

Отношение к нам здешней администрации, вопреки дурным слухам о «Пересылке», оказалось весьма приличным, в некоторых отношениях даже предупредительным. Есть основания предполагать, что тут не обошлось без специальных инструкций: наблюдать зорко, но инцидентов не создавать.

Самый день от'езда попрежнему окружают величайшей таинственностью: очевидно, боятся демонстраций и попыток насильственного освобождения в пути. Боятся и принимают необходимые меры; но при настоящих условиях подобная попытка была бы настоящей бессмыслицей.

10 января. Пишу вам на ходу поезда... Извините поэтому мой небрежный почерк... Теперь часов 9 утра.

Нас разбудил сегодня ночью, в половине четвертого, старший надзиратель,—большинство из нас едва успело перед тем улечься, увлеченные шахматной

игрой,—и заявил, что в шесть часов нас отправляют. Мы так долго ждали отправки, что час от'езда поразил нас своей... неожиданностью.

Дальше—все, как следует. Спеша и путаясь, мы уложили вещи. Затем спустились в приемную, куда привели и женщин с детьми. Здесь нас «принял» конвой и спешно осмотрел вещи. Сонный помощник сдал офицеру наши деньги. Затем нас усадили в арестантские кареты и под усиленным конвоем доставили на Николаевский вокзал. Куда поедем, мы еще не знали. Замечательно, что наш конвой сегодня экстренно прибыл из Москвы: очевидно, на петербургский не полагались. Офицер при приеме был очень любезен, но на все запросы с нашей стороны отзывался полным неведением. Он заявил, что нами заведует жандармский полковник, который отдает все распоряжения. Ему же, офицеру, приказано нас доставить на вокзал—и только. Возможно, конечно, что правительство действительно было до такой степени осторожно, но, с другой стороны, не исключена возможность, что это была простая дипломатия со стороны офицера.

Вот уже с час, как мы едем, и до сих пор не знаем—на Москву или на Вологду. Солдаты тоже не знают,—эти уж действительно не знают.

Мы разместились с чувством людей, которым безразлично, каким путем их везут: все равно привезут куда надо.

Оказывается, едем на Вологду: кто-то из наших определил путь по названию станции. Значит, будем в Тюмени через четыре дня.

Публика очень оживлена, езда развлекает и возбуждает после тринадцатимесячного сидения в тюрьме. Хотя на окнах вагона решетки, но сейчас за ними—свобода, жизнь и движение... Скоро ли доведется возвращаться по этим рельсам?... Прощай, милый друг.

11 января. Если конвойный офицер предупредителен и вежлив, то о команде и говорить нечего: почти вся она читала отчет о нашем процессе и относится к нам с величайшим сочувствием. Интересная подробность. До последней минуты солдаты не знали, кого и куда везут. По предосторожностям, с какими их внезапно доставили из Москвы в Петербург, они думали, что им придется везти нас в Шлиссельбург на казнь. В приемной «Пересылки» я заметил, что конвойные очень взволнованы и как-то странно услужливы, с оттенком виноватости. Только в вагоне я узнал причину... Как они обрадовались когда узнали, что перед ними—«рабочие депутаты», осужденные только лишь в ссылку.

Жандармы, образующие сверх-конвой, к нам в вагон совершенно не показываются. Они несут внешнюю охрану: окружают вагон на станциях, стоят на часах у наружной стороны двери, а, главным образом, повидимому, наблюдают за конвойными. Так, по крайней мере, думают сами солдаты.

О снабжении нас водой, кипятком, обедом предупреждают заранее по телеграфу. С этой стороны мы едем со всяческими удобствами. Недаром же какой-то станционный буфетчик составил столь вы-

сокое о нас мнение, что предложил нам через конвой тридцать устриц. По этому поводу было много веселья. Но от устриц мы все-таки отказались.

12 января. Как «они» нас охраняют! На каждой станции вагон окружается жандармами, а на больших— сверх того и стражниками. Жандармы, кроме ружей, держат в руках револьверы и грозят ими всякому, кто случайно или из любопытства приблизится к вагону. Такой охраной в настоящее время пользуются две категории лиц: особо важные «преступники» и особо прославленные министры.

Сейчас приехали в Вятку. Стоим. Какую встречу нам устроила вятская бюрократия! Хотел бы я, чтобы вы на это посмотрели. С обеих сторон вагона по полуроте солдат шеренгой. Во втором ряду—стражники с ружьями за плечом. Офицеры, исправник, пристава и пр. У самого вагона, как всегда, жандармы. Словом, целая военная демонстрация. Поистине трудно представить себе что-нибудь более нелепо-трусливое. Это сплошная карикатура на «сильную власть». Мы имеем некоторое право гордиться: очевидно, и мертвый Совет им страшен.

Чтобы скрыть наш маршрут, который скрыть невозможно,—очевидно, именно для этого, ибо другой цели не подберешь,—нам запрещают с дороги писать письма. Таково распоряжение незримого полковника на основании петербургской «инструкции». Но мы с первого же дня поездки начали писать письма в надежде, что удастся отправить. И не ошиблись. Инструкция не предусмотрела, что у нее совершенно нет

верных слуг, тогда как мы со всех сторон окружены друзьями.

16 января. Пишу при таких условиях. Мы стоим в деревне в двадцати верстах от Тюмени. Ночь. Крестьянская изба. Низкая, грязная комната. Весь пол без всяких промежутков покрыт телами членов Совета Рабочих Депутатов.

В Тюмени мы пробыли трое суток. Встретили нас—к чему мы уже успели привыкнуть—при огромном числе солдат, пеших и конных. Верховые («охотники») гарцовали, прогоняя уличных мальчишек. От вокзала до тюрьмы шли пешком.

Из Тюмени мы отправились на лошадях, при чем на нас, 14 ссыльных, дали 52 (пятьдесят два) конвойных солдата, не считая капитана, пристава и урядника. Это нечно небывалое. Все изумляются, в том числе солдаты, капитан, пристав и урядник! Но такова «инструкция».

Едем теперь в Тобольск, подвигаемся крайне медленно. Сегодня, например, за день мы проехали только 20 верст. Приехали на этап в час дня. Почему бы не ехать дальше? Нельзя. Почему нельзя? Инструкция! Во избежание побегов не хотят нас возить вечером, в чем есть еще тень смысла. Но в Петербурге настолько не доверяют инициативе местных властей, что составили поверстный маршрут. Какая деловитость со стороны департамента полиции! И вот теперь мы 3—4 часа в сутки едем, а 20 часов стоим. При такой езде весь путь до Тобольска—250 верст—сделаем дней в десять, следовательно, в Тобольске будем 25—26 янва-

ря. Сколько там простоим, когда и куда выедем—неизвестно, т.-е., вернее, нам не говорят.

Идет под нами около 40 саней. На передних вещи. На следующих—мы, «депутаты», попарно. На каждую пару по два солдата. На сани — одна лошадь. Сзади ряд саней, нагруженных одними солдатами. Офицер с приставом впереди поезда, в крытой «кошеве», Едем шагом. Из Тюмени нас на протяжении нескольких верст провожали 20—30 верховых «охотников». Словом, если принять во внимание, что все эти неслыханные и невиданные меры предосторожности принимаются по распоряжению из Петербурга, то придется притти к выводу, что нас хотят в о ч т о б ы т о н и с т а л о доставить в самое укромное место. Нельзя же думать, что это путешествие с королевской свитой есть простая канцелярская причуда... Это может создать впереди серьезные затруднения...

Все уже спят. В соседней кухне, дверь в которую открыта, дежурят солдаты. За окном прохаживаются часовые. Ночь великолепная, лунная, голубая, вся в снегу. Какая странная обстановка—эти простертые на полу тела в тяжелом сне, эти солдаты у двери и окон. Но так как я проделываю все это вторично, то нет уже свежести впечатлений... и как «Кресты» мне казались продолжением Одесской тюрьмы, которая построена по их образцу, так эта поездка кажется мне временно прерванным продолжением этапного пути в Иркутскую губернию...

В Тюменской тюрьме было множество политических, главным образом, административно-ссыльных. Они

собрались на прогулке под нашим окном, приветствовали нас песнями и даже выкинули красное знамя с надписью: «Да здравствует революция!»... Сцена была довольно внушительная и, если хотите, в своем роде трогательная. Через форточку мы ответили им несколькими словами привета. В той же тюрьме уголовные арестанты подали нам длиннейшее прошение, в котором умоляли в прозе и в стихах нас, «сановных революционеров из Петербурга», протянуть им руку помощи. Мы хотели-было передать немного денег наиболее нуждающимся политическим ссыльным, а среди них многие без белья и теплой одежды, но тюремная администрация отказала наотрез. «Инструкция» воспрещает какие бы то ни было сношения «депутатов» с другими политическими. Даже через посредство безличных кредитных знаков? Да. Какая предусмотрительность!

Из Тюмени нам не разрешили отправить телеграммы, дабы законспирировать место и время нашего пребывания. Какая бессмыслица! Как будто военные демонстрации по пути не указывают всем зевакам наш маршрут.

18 января. Покровское. Пишу с третьего этапного пункта. Изнемогаем от медленной езды. Делаем не больше шести верст в час, едем не больше четырех-пяти часов в сутки. Хорошо, что холода невелики:—20—25—30° R. Недели три тому назад морозы доходили здесь до—52° R.

Остается еще неделя езды до Тобольска. Никаких газет, никаких писем, никаких известий. Отсюда пи-

сать приходится без уверенности, что письмо дойдет по назначению; нам все еще запрещено писать с дороги, и мы вынуждены пользоваться всякими случайными и не всегда надежными путями. Но, в сущности, все это пустяки. Одеты мы все тепло и с наслаждением дышим прекрасным морозным воздухом после подлой атмосферы одиночной камеры.

Все оставалось таким же в Сибири, каким было 5—6 лет тому назад,—и в то же время все изменилось: изменились не только сибирские солдаты,—и до какой степени!—изменились также сибирские «челдоны» (крестьяне): разговаривают на политические темы, спрашивают, скоро ли «это» кончится. Мальчик-возница, лет тринадцати,—он уверяет, что ему пятнадцать,—горланит всю дорогу: «Вставай, подымайся, рабочий народ! Вставай на борьбу, люд голодный!».. Солдаты с очевидным расположением к певцу дразнят его, угрожая донести офицеру. Но мальчишка прекрасно понимает, что все за него, и безбоязненно призывает к борьбе «рабочий народ»...

Первая стоянка, с которой я писал вам, была в скверной мужицкой избе. Две другие—в казенных этапных домах, не менее грязных, но более удобных. Есть женское, есть мужское отделение, есть кухня. Спим на нарах. Опрятность приходится соблюдать только крайне относительную. Это, пожалуй, самая тягостная сторона путешествия.

23 января. Пишу вам с предпоследней стоянки перед Тобольском. Здесь прекрасный этапный дом, новый, просторный и чистый. После грязи последних эта-

пов мы отдыхаем душой и телом. До Тобольска осталось верст 60. Если-б вы знали, как мы в последние дни мечтаем о «настоящей» тюрьме, в которой можно было бы, как следует, умыться и отдохнуть. Здесь живет всего один политический ссыльно-поселенец, бывший сиделец винной лавки в Одессе, осужденный за пропаганду среди солдат. Он приходил к нам с продуктами на этап и рассказывал об условиях жизни в Тобольской губернии. Большая часть ссыльных, как поселенцев, так и «административных», живет в окрестностях Тобольска, верстах в 100—150, по деревням. Есть, однако, ссыльные и в Березовском уезде. Там жизнь несравненно тяжелее и нуждающихся больше. Побеги отовсюду бесчисленны. Надзора почти нет, да он и невозможен. Ловят «беглых», главным образом, в Тюмени (отправной пункт ж. д.) и вообще по железнодорожной линии. Но процент пойманных незначителен.

Вчера мы случайно прочитали в старой тюменской газете о двух недоставленных телеграммах мне и С., адресованных в пересыльную тюрьму. Телеграммы пришли как раз в то время, когда мы были в Тюмени. Администрация не приняла их, все из тех же конспиративных соображений, смысл которых непонятен ни ей, ни нам. Охраняют нас в пути очень тщательно. Капитан совсем замучил солдат, назначая по ночам непомерные дежурства не только у этапного дома, но и по всему селу. И, тем не менее, уже можно заметить, как по мере нашего передвижения к северу «режим» начинает оттаивать: нас уже начали выпускать

под конвоем в лавки, мы группами ходим по селу и иногда заходим к местным ссыльным. Солдаты очень покровительствуют нам: их сближает с нами оппозиция к капитану. В самом затруднительном положении оказывается унтер, как связывающее звено между офицером и солдатами.

— Нет, господа,—сказал он нам однажды при солдатах,—теперь уже унтер не тот, что прежде...

— Бывает и теперь иной, что хочет, как прежде...—раздалось из группы солдат.—Только наломают ему хвост, и он станет как шелковый...

Все засмеялись. Засмеялся и унтер, но не весьма веселым смехом.

26 января. Тобольская тюрьма. За два станка до Тобольска к нам навстречу выехал помощник исправника. Верст за 10 до города нам навстречу выехали двое ссыльных. Как только офицер увидел их, он немедленно «принял» меры: проехал вдоль всего нашего поезда и приказал солдатам спешиться (до этого солдаты ехали в санях). Так мы и двигались все десять верст. Солдаты, ругая на чем свет офицера, шли пешком с обеих сторон дороги с ружьями на-плечо.

Но тут я должен прервать свое описание: нам сообщили следующее: нас всех отправляют в село Обдорское, будем ехать по 40—50 верст в день под военным конвоем. До Обдорского отсюда свыше 1.200 верст зимним трактом. Значит, при самом благополучном передвижении, при постоянной наличности лошадей, при отсутствии остановок, вызываемых заболеваниями и пр., мы будем ехать больше месяца. На ме-

сте ссылки будем получать пособие в размере 1 р. 80 к. в месяц.

Особенно тяжела сейчас езда с маленькими детьми в течение месяца. Говорят, что от Березова до Обдорска придется ехать на оленях. Это известие особенно неприятно поразило тех, кто ехал с семьями. Местная администрация уверяет, что наш нелепый маршрут (40 верст вместо 100 в день) предписан из Петербурга, как и все вообще мелочи нашего препровождения на место ссылки. Тамошние канцелярские мудрецы все предвидели, чтобы не дать нам бежать. И нужно отдать им справедливость: девять мер из десяти, ими предписанных, лишены всякого смысла. «Добровольно следующие» жены ходатайствовали о том, чтобы их здесь выпустили из тюрьмы на те три дня, которые мы пробудем в Тобольске. Губернатор отказал наотрез, что не только бессмысленно, но и совершенно незаконно. Публика по этому поводу слегка волнуется и пишет протест. Но чему поможет протест, когда на все один ответ: «такова инструкция из Петербурга».

Оправдались таким образом самые неблагоприятные газетные слухи: местом нашего поселения назначен самый северный пункт губернии. Любопытно отметить, что «равенство», сказавшееся в приговоре, проявилось и при назначении места поселения: мы все направлены в один и тот же пункт.

Здесь, в Тобольске, имеют об Обдорске такое же, в сущности, смутное представление, как и вы в Петербурге. Известно лишь, что это местечко находится где-то за полярным кругом. Возникает вопрос: не бу-

дет ли в Обдорском поселена специальная команда для нашей охраны? Это было бы только последовательно. Будет ли вообще возможность организовать побег, или же мы вынуждены будем между северным полюсом и полярным кругом выжидать дальнейшего развития революции и изменения всей политической обстановки?

29 января. Вот уже два дня, как мы едем из Тобольска.... Сопровождают нас 30 конвойных под командой унтера. Выехали в понедельник утром на тройках (со второго станка перешли на пары) в огромных кошевах. Утро было великолепное: ясное, чистое, морозное. Вокруг — лес, неподвижный и весь белый от инея на фоне ясного неба. Какая-то сказочная обстановка. Лошади бешено мчались—это обычная сибирская езда. У выезда из города — тюрьма стоит на самом краю — нас ждала местная ссыльная публика, человек 40—50; было много приветствий, поклонов и попыток узнать друг друга... Но мы быстро промчались мимо. Среди местного населения о нас сложились уже легенды: одни говорят, что едут в ссылку пять генералов и два губернатора; другие, — что едет граф с семьей; третьи, — что везут членов Государственной Думы. Наконец, та хозяйка, у которой мы сегодня стояли, спросила у доктора: «Вы тоже будете политики?» — Да, политики.—«Однако, вы, должно быть, будете начальники над всеми политиками?»

Сейчас мы стоим в большой чистой комнате, оклеенной обоями; на столе клеенка, пол крашеный,

1062852

большие окна, две лампы. Все это очень приятно после грязных этапов. Спать, однако, приходится на полу, так как в одной комнате нас девять человек. Конвой наш сменился в Тобольске, и насколько тюменский конвой был обходителен и расположен к нам, настолько тобольский оказался труслив и груб. Об'ясняется это отсутствием офицера: за все отвечают сами солдаты. Впрочем, уже после двух дней новый конвой «оттаял», и сейчас у нас устанавливаются с большинством солдат прекрасные отношения; а это далеко не мелочь в таком далеком пути.

Мы встречали товарищей, живших в Обдорске. Все они очень хорошо отзываются об этом месте. Большое село. Свыше 1.000 жителей. Двенадцать лавок. Дома городские. Много хороших квартир. Прекрасное гористое местоположение. Очень здоровый климат. Рабочие будут иметь заработок. Можно иметь уроки. Правда, жизнь дороговата, но зато и заработки выше. Лишь один недочет имеет это бесподобное место: оно почти совсем отрезано от всего мира. До железной дороги полторы тысячи верст. До ближайшего телеграфного поста — 800. Почта приходит раз в две недели. Но во время распутицы, весной и осенью, она вовсе не приходит от полутора до двух месяцев. Образуйся сейчас в Петербурге временное правительство, в Обдорске еще долго будет царить становой! Отрезанностью Обдорска от Тобольского тракта и об'ясняется его относительная оживленность, так как он является самостоятельным центром для огромной местности.

Ссыльные не засиживаются долго на одном и том же месте. Кочевание их по губернии происходит беспрерывно. Пароходы, курсирующие по Оби, бесплатно возят политических. Платные пассажиры ютятся по углам, а кочующие политики завладевают лучшими местами. Это может удивить вас, милый друг, но такова прочно укоренившаяся традиция. Все настолько привыкли к этому, что крестьяне-извозчики говорят нам по поводу нашего назначения в Обдорск: «Ну, это не надолго, весной на пароходе назад приедете»... Но кто знает, в какие условия будем поставлены мы, «советские», и с какой целью шлют нас в Обдорск? Пока что, отдано распоряжение предоставлять нам в пути лучшие кошевы и лучшие квартиры.

Обдорск! Малюсенькая точка на земном шаре... может быть, на годы придется приспособить свою жизнь к обдорским условиям. Со стиснутыми зубами я тоскую об электрическом свете уличного фонаря, о шуме трамвая и о лучшем, что существует в мире,— о запахе свежего газетного листа.

1 февраля. Юровское. Из Тобольска мы выехали на тройках, но уже на второй остановке их сменили на пары, так как дорога становилась все уже и уже.

В тех селах, где мы меняем лошадей, нас дожидаются уже запряженные сани. Пересаживаемся за селом, в поле. Обыкновенно все население высыпает поглядеть на нас. Разыгрываются оживленные сцены. В то время, как бабы держат наших лошадей под уздцы,

мужики заботятся о нашем багаже, а дети весело и шумно бегают вокруг нас. Вчера «политики» хотели нас сфотографировать при смене лошадей и ожидали с аппаратом у волостного правления, но мы промчались мимо них, и они не успели ничего сделать. Сегодня при в'езде в село, где мы теперь ночуем, нас встретили местные «политики» с красным знаменем в руках. Их 14 человек, в том числе человек 10 грузин. Солдаты всполошились, увидев красное знамя, стали грозить штыками, кричали, что будут стрелять. В конце концов, знамя было отнято, и «демонстранты» оттеснены. Среди нашего конвоя есть несколько солдат, группирующихся вокруг старообрядца-ефрейтора. Это необыкновенно грубая и жестокая тварь. Для него нет лучшего удовольствия, как толкнуть мальчика-ямщика, испугать на-смерть бабу-татарку или ударить с размаху прикладом лошадь. Кирпичное лицо, полураскрытый рот, бескровные десны и немигающие глаза придают ему идиотский вид. Ефрейтор находится в жестокой оппозиции к унтеру, командующему конвоем. На его взгляд, унтер не проявляет по отношению к нам достаточно решительности. Где нужно вырвать красное знамя или толкнуть в грудь политического, слишком близко подошедшего к нашим саням, там ефрейтор всегда впереди, во главе своей группы. Нам всем приходится сдерживаться, чтоб избежать какого-нибудь острого столкновения, так как в таком случае мы не могли бы рассчитывать на защиту со стороны унтера, который боится этого ефрейтора до-смерти.

2 февраля, вечер. Демьянское. Несмотря на то, что вчера, при нашем в'езде в Юровское, красное знамя было отнято, сегодня появилось новое, воткнутое на высоком шесте в снежный сугроб у выезда из деревни. Знамени на этот раз никто не трогал: солдатам, только что усевшимся, не хотелось вылезать из кошев. Так мимо него и продефилировали. Далее, на расстоянии нескольких сот шагов от деревни, когда спускались к реке, мы увидели на одной стороне снежного спуска надпись, выведенную огромными буквами: «Да здравствует революция!». Мой ямщик, парень лет 18, рассмеялся весело, когда я прочитал надпись. — А вы знаете, что значит «да здравствует революция?» — спросил я его. — Нет, не знаю, — ответил он, подумав, — а только знаю, что кричат: «Да здравствует революция!». Но видно было по лицу, что он знает больше, чем хочет сказать. Вообще, местные крестьяне, особенно молодежь, очень благожелательно относятся к «политическим».

В Демьянское, — большое село, где мы сейчас стоим, — мы приехали в час. Встретила нас огромная толпа ссыльных, — их здесь свыше 60 человек. Это привело часть наших конвойных в величайшее замешательство. Ефрейтор сейчас же собрал вокруг себя своих верных, готовый, в случае надобности, к действию. К счастью, все обошлось мирно. Ждали нас здесь, очевидно, давно и очень нервно. Была избрана специальная комиссия для организации встречи. Приготовили великолепный обед и комфортабельную

квартиру в здешней «коммуне». Но на квартиру эту нас не пустили; пришлось поместиться в крестьянской избе; обед приносили сюда. Свидания с политическими крайне затруднены, им удавалось проникнуть к нам лишь на несколько минут по два, по три человека — с разными частями обеда. Кроме того, мы ходили поочереди в лавочку, под конвоем, и по дороге перебрасывались несколькими словами с товарищами, которые целый день дежурили на улице. Одна из местных ссыльных явилась к нам в одежде крестьянской бабы, якобы для продажи молока, и очень хорошо разыграла свою роль. Но хозяин квартиры, повидимому, донес на нее солдатам, и те потребовали, чтоб она немедленно удалилась. Дежурил у нас, как на зло, ефрейтор. Я вспомнил, как наша усть-кутская колония (на Лене) готовилась к встрече каждой партии ссыльных: мы варили щи, лепили пельмени, — словом, проделывали то же, что тут для нас совершали демьяновцы. Проезд большой партии — огромное событие для каждой колонии, живущей по пути и с нетерпением ждущей вести с далекой родины.

4 февраля, 8 ч. вечера. Цингалинские юрты. Пристав запросил, по нашему настойчивому требованию, тобольскую администрацию, нельзя ли ускорить темп нашего передвижения. Из Тобольска, очевидно, снеслись с Петербургом, и в результате приставу по телеграфу предоставлена свобода действий. Если считать, что отныне будем в среднем делать 70 верст в день, то в Обдорск прибудем 18—20 февраля. Разумеется, это лишь предположительный расчет.

6 февраля. Самарово. Вчера мы проехали 65 верст, сегодня 73, завтра проедем приблизительно столько же. Полосу земледелия мы уже оставили позади. Здешние крестьяне, как русские, так и остяки, занимаются исключительно рыболовством.

До какой степени Тобольская губерния заселена политическими... Буквально нет глухой деревушки, в которой не было бы ссыльных. Отношение крестьян к политическим превосходное. Так, например, здесь в Самарове — огромное торговое село — крестьяне отвели «политикам» бесплатно целый дом и подарили первым приехавшим сюда ссыльным теленка и два куля муки. Лавки, по установившейся традиции, уступают политическим продукты дешевле, чем крестьянам. Часть здешних ссыльных живет коммуной в своем доме, на котором всегда развевается красное знамя. Попробуйте, пожалуйста, водрузить красное знамя в Париже, Берлине или Женеве!

8 февраля. Карымкринские юрты. Стоим в остяцком селе, в маленькой грязной избенке. В грязной кухне вместе с пьяными остяками топчутся озябшие конвойные солдаты. В другом отделении блеет ягненок... В селе свадьба — теперь, вообще, время свадеб, — все остяки пьют, и пьяные лезут время-от-времени к нам в избу.

Трудно себе представить ту подготовительную работу, которая совершена здесь для нашего передвижения. Наш поезд, как я уже писал, состоит из 22 кошев и занимает около 50 лошадей. Такое количество имеется в редком селе, и их сгоняют издалека. На неко-

торых станциях мы встречали лошадей, пригнанных за 100 верст. А между тем перегоны здесь очень короткие: большинство 10—15 верст. Таким образом, остяку приходится пригнать лошадь за 100 верст, чтоб провезти двух членов Совета Рабочих Депутатов на протяжении 10 верст. Так как точно неизвестно было, когда именно мы приедем, то ямщики, приехавшие из дальних мест, дожидались нас иногда по две недели. Они вспоминают еще только один такой случай: это когда проезжал по этим местам «сам» губернатор...

Я уже несколько раз упоминал о той симпатии, с какой относятся к «политикам» вообще, к нам в особенности, местные крестьяне. Удивительный случай произошел с нами в этом отношении в Белогорье, маленьком селе, уже в Березовском уезде. Группа местных крестьян коллективно устроила для нас чай и закуску и собрала для нас шесть рублей. От денег мы, разумеется, отказались, но чай пить отправились. Конвой, однако, воспротивился, и чаю напиться не удалось. Собственно, унтер разрешил, но ефрейтор поднял целую бурю, кричал на все село, угрожая унтеру доносом. Нам пришлось уйти из избы без чаю. Чуть не вся деревня шла за нами. Получилась демонстрация.

9 февраля. Село Кандинское. Вот и еще сто верст проехали. До Березова двое суток езды. 11 будем там. Сегодня порядком устал: в течение 9—10 часов непрерывной езды приходится ничего не есть. Едем все время Обью, «по рекам — по Обям»,

как выражаются ямщики. Правый берег — гористый, лесной. Левый — низменный. Река широка. Тихо и тепло. По обеим сторонам дороги торчат елочки: их втыкают в снег, чтоб обозначить путь. Везут большей частью остяки. Везут на парах и тройках, запряженных цугом, так как дорога чем дальше, тем уже и уже. У ямщиков длинный веревочный кнут на длинном кнутовище. Поезд растягивается на огромное расстояние. Ямщик время-от-времени гикает неистовым голосом. Тогда лошади несутся вскачь («на-машь», по-здешнему). Поднимается густая снежная пыль. Захватывает дыхание. Кошева наскакивает на кошеву, лошадиная морда просовывается сзади над плечом и дышит в лицо. Потом кто-нибудь опрокидывается, или у какого-нибудь ямщика что-нибудь развязывается или рвется. Он останавливается. Останавливается и весь поезд. Потом лошади снова рвут с места и несутся на-машь. Частые остановки очень задерживают и не дают ямщикам развернуться во-всю. Мы делаем верст 15 в час, тогда как настоящая езда здесь— это 18—20 и даже 25 верст в час...

Быстрая езда в Сибири—обычная и, в известном смысле, необходимая вещь, вызываемая огромными расстояниями. Но такой езды, как здесь, я не видал даже на Лене.

Приезжаем на станцию. За селом ждут запряженные кошевы и свободные лошади: две кошевы у нас «проходные», до Березова, для семейных. Мы быстро пересаживаемся и едем дальше. Удивительно здесь сидит ямщик! На передней части кошевы прибита по-

перек у самого края доска; это место кошевы называется беседкой. Ямщик сидит на беседке, т.-е. на голой доске, свесив ноги через борт саней, на-бок. В то время, как кони мчатся в галоп, а кошева становится то на одно ребро, то на другое, ямщик направляет ее своим телом, перегибаясь из стороны в сторону, а местами отталкиваясь ногами от земли...

12 февраля. Березов. Тюрьма. Дней пять-шесть тому назад—я тогда не писал вам об этом, чтоб не вызвать излишних беспокойств—мы проезжали через местность, сплошь зараженную сыпным тифом. Теперь эти места оставлены уже далеко позади. В Цингалинских юртах, о которых я упоминал, тиф был в 30 избах из 60. То же и в других селениях. Масса смертных случаев. Не было почти ямщика, у которого не умер бы кто нибудь из родных.

Каждый день мы за последнее время подвигаемся на 90—100 верст к северу, т.-е. почти на градус. Благодаря такому непрерывному передвижению, убыль культуры — если тут можно говорить о культуре — выступает перед нами с резкой наглядностью. Каждый день мы опускаемся на одну ступень в царство холода и дикости. Такое впечатление испытывает турист, поднимаясь на высокую гору и пересекая одну зону за другой... Сперва шли зажиточные русские крестьяне. Потом обрусевшие остяки, наполовину утратившие, благодаря смешанным бракам, свой монгольский облик. Далее миновали полосу земледелия. Пошел остяк - рыболов, остяк - охотник — малорослое лохматое существо, с трудом говорящее по-русски.

Лошадей становилось меньше, и лошади — все хуже: извоз здесь не играет большой роли, и охотничьи собаки в этих местах ценнее лошади. Дорога тоже делалась хуже: узкая, без всякого наката... И, тем не менее, по словам пристава, здешние «трактовые» остяки представляются образцом высокой культуры по сравнению с теми, которые живут по притокам Оби.

К нам здесь отношения смутные, недоумевающие, пожалуй, как к временно свергнутому большому начальству. Один остяк сегодня спрашивал: «А где ваш генерал? Генерала мне покажите... Вот бы мне на кого посмотреть... Никогда в жизни не видал генерала».

Когда какой-то остяк впрягал плохую лошадь, другой ему крикнул: «Давай получше: не под пристава запрягаешь»... Хотя был и противоположный, единственный, впрочем, в своем роде, случай, когда остяк по какому-то поводу, имевшему касательство к упряжке, сказал: «Не великие члены едут»...

Вчера вечером мы приехали в Березов.

Здесь отдохнем дня два, а затем тронемся дальше...

Да, дальше... но я еще не решил для себя—в какую сторону.

ОБРАТНО

Первое время пути на лошадях я на каждом «станке» оглядывался назад и с ужасом видел, что расстояние от железной дороги становится все больше и больше. Обдорск ни для кого из нас не был конечной целью, а в том числе и для меня. Мысль о побеге не покидала нас ни на минуту. Паспорт и необходимые деньги на дорогу были у меня искусно заделаны в подошве сапога. Но огромный конвой и режим бдительного надзора крайне затрудняли побег с пути. Под конец, когда проехали несколько сот верст, выработалась инерция движения; и я уже не оглядывался назад, а заглядывал вперед, стремился «на место», заботился о своевременном получении книг и газет, вообще, собирался обосноваться... В Березове это настроение сразу исчезло.

— Возможно-ли отсюда уехать?

— Весной легко.

— А сейчас?

— Трудно, но, надо думать, возможно. Опытов, однако, еще не было.

Все, решительно все говорили нам, что весной уехать легко и просто. В основе этой простоты лежит физическая невозможность для малочисленной

полиции контролировать бесчисленное количество ссыльных. Но надзор за пятнадцатью ссыльными, поселенными в одном месте и пользующимися исключительным вниманием, все-таки возможен... Вернуться сейчас было бы куда вернее.

Но для этого, прежде всего, нужно остаться в Березове. Проехать до Обдорска — значит, еще удалиться на 480 верст от цели. После заявления с моей стороны, что вследствие болезни и усталости я немедленно ехать не могу и добровольно не поеду, исправник, после совещания с врачом, оставил меня на несколько дней в Березове для отдыха. Я был помещен в больницу. Каких-нибудь определенных планов у меня не было.

В больнице я устроился с относительной свободой. Врач рекомендовал мне побольше гулять, и я воспользовался своими прогулками, чтобы ориентироваться в положении.

Самое простое, казалось бы, — это вернуться обратно тем же путем, каким нас везли в Березов, то-есть «большим тобольским трактом». Но этот путь казался слишком ненадежным. Правда, по дороге есть достаточное количество надежных крестьян, которые будут тайно перевозить от села к селу. Но все же сколько тут может быть нежелательных встреч. Вся администрация живет и ездит по тракту. В двое суток, а при нужде — даже скорее, можно из Березова доехать до первого телеграфного пункта, — и оттуда предупредить полицию по всему пути до Тобольска. От этого направления я отказался.

Можно на оленях перевалить Урал и через Ижму пробраться в Архангельск, там дождаться первых пароходов и проехать за границу. До Архангельска путь надежный, глухими местами. Но насколько безопасно будет оставаться в Архангельске? Об этом у меня не было никаких сведений, и добыть их в короткое время было неоткуда.

Наиболее привлекательным показался мне третий план: проехать на оленях до уральских горных заводов, попасть у Богословского завода на узкоколейную жел. дор. и доехать по ней до Кушвы, где она смыкается с пермской линией. А там — Пермь, Вятка, Вологда, Петербург, Гельсингфорс.

На заводы можно отправиться на оленях прямо из Березома—по Сосьве или Вогулке. Тут сразу открывается дичь и глушь. Никакой полиции на протяжении тысячи верст, ни одного русского поселения, только редкие остяцкие юрты, о телеграфе, конечно, нет и помину, совершенно нет на всем пути лошадей—тракт исключительно «оленный». Нужно только выиграть у березовской администрации некоторое время,—и не догонят, даже если бросятся по тому же направлению.

Предупреждали, что это—путь, исполненный «лишений и физических опасностей». Иногда на сотню верст нет человеческого жилья. У остяков, единственных обитателей края, свирепствуют заразные болезни: не переводится сифилис, частым гостем бывает сыпной тиф. Помощи ждать не от кого. Этой зимой в Оурвинских юртах, которые лежат по сосьвинскому

пути, умер молодой березовский купец Добровольский: две недели метался он беспомощно в жару... А что, если падет олень, и негде будет достать ему смену? А буран? Он иногда продолжается несколько суток. Если застигнет в пути—гибель. Между тем февраль—месяц буранов. И точно ли теперь есть дорога до заводов? Передвижение там редкое, и если за последние дни остяки не проезжали по тем местам, то след должно было во многих местах совсем замести. Значит, немудрено сбиться с пути. Таковы были предостережения.

Отрицать опасности не приходилось. Конечно, тобольский тракт имеет большие преимущества со стороны физической безопасности и «комфорта». Но именно поэтому он несравненно опаснее в полицейском отношении. Я решил отправиться по Сосьве — и у меня нет причины сожалеть о моем выборе.

■

Оставалось найти человека, который взялся бы довезти меня до заводов, т.-е. оставалось самое трудное [1].

— Стойте, я вам это устрою,—сказал мне после долгих разговоров и размышлений молодой купец Никита Серапионович [2], с которым я вел по этому

---

[1] Дальнейшее описание организации побега сильно изменено, лица и имена фиктивные, чтобы не навлечь преследования на действительных участников организации побега.

[2] Прим. редактора. В действительности, лицом, оказавшим помощь Л. Троцкому в побеге, был политический ссыль-

предмету переговоры. — Тут верст 40 под городом, в юртах, зырянин живет, Никифором звать... уж это такой пройдоша... у него две головы, он на все пойдет.

— А не пьет он?—спросил я предусмотрительно.

— Как не пить—пьет. Да кто же здесь не пьет? Он вином и погубил себя: охотник хороший, прежде много соболей добывал, большие деньги зарабатывал... Ну, да ничего: если он на это дело пойдет, он, даст бог, воздержится. Я к нему с'езжу. Это такой пройдоша... уж если он не свезет, никто не свезет...

Совместно с Никитой Серапионовичем мы выработали условия договора. Я покупаю тройку оленей, самых лучших, на выбор. Кошева тоже моя. Если Никифор благополучно доставит меня на заводы, олени с кошевой поступают в его собственность. Сверх того я уплачиваю ему пятьдесят рублей деньгами.

К вечеру я уж знал ответ. Никифор согласен. Он отправился в чум, верст за 50 от своего жилья, и завтра к обеду приведет тройку лучших оленей. Выехать можно будет, пожалуй, завтра в ночь. Нужно к тому времени запастись всем необходимым: купить хорошие олени кисы с чижами [1], малицу или гусь [2] и

ный Ф. Рошковский. «Купцом Никитой Серапионовичем» он назван для того, чтобы скрыть от полиции истинного соучастника побега (книжка Л. Троцкого появилась в печати до революции).

1 Чижи — чулки оленьего меха шерстью к ноге; кисы — сапоги оленьего меха шерстью наружу.

2 Верхняя одежда из оленьего меха. Малица шьется мехом внутрь; поверх малицы в холодное время надевается гусь, мехом наружу.

заготовить провизии дней на десять. Всю эту работу брал на себя Никита Серапионович.

— Я вам говорю,—уверял он меня,—что Никифор вывезет. Уж этот вывезет!

— Если не запьет,—возражал я с сомнением.

— Ну, ничего, даст бог, не запьет... Боится только, что горой дороги не найдет: восемь лет не ездил. Придется, пожалуй, ехать рекой до Шоминских юрт, а это много дальше...

Дело в том, что от Березова на Шоминские юрты два пути: один — «горою», прямиком — пересекает в нескольких местах реку Вогулку и проходит через Выжпуртымские юрты. Другой тянется по Сосьве, через Шайтанские, Малеевские юрты и т. д. «Горою»— вдвое ближе, но это место глухое, редко когда проедет остяк, — и дорогу иногда бесследно заносит снегом.

На другой день выехать оказалось, однако, невозможно. Никифор оленей не привел, и где он, и что с ним, — неизвестно. Никита Серапионович чувствовал себя очень смущенным.

— Да вы не дали ли ему денег на покупку оленей?— спросил я.

— Ну, что вы!.. Кажись, я тоже не мальчик. Я ему только пять рублей задатку дал, да и то при жене. Вот погодите, я к нему сегодня опять с'езжу...

От'езд затягивался, по крайней мере, на сутки. Исправник каждый день может потребовать, чтоб я отправился в Обдорск. Дурное начало!

Выехал я на третий день, 18 февраля.

Утром явился в больницу Никита Серапионович и, улучив удобную минуту, когда в моей комнате никого не было, решительно сказал:

— Сегодня в одиннадцать часов ночи незаметно приходите ко мне. В двенадцать решено выехать. Мои все чада и домочадцы сегодня на спектакль уйдут, я один дома останусь. У меня переоденетесь, поужинаете, я вас на своей лошади в лес свезу, Никифор нас там уже будет дожидаться. Он вас горой увезет: вчера, говорит, две остяцкие нарты след проложили.

— Это окончательно?—спросил я с сомнением.

— Решительно и окончательно!

*

Около полуночи мы вышли во двор. Со свету казалось очень темно. В сумраке видна была кошева, запряженная одной лошадью. Я улегся на дно кошевы, подостлав наскоро свой гусь. Никита Серапионович накрыл меня всего большим ворохом соломы и увязал ее сверху веревками: походило будто везет кладь. Солома была мерзлая, смешанная со снегом. От дыхания снег быстро подтаивал и падал мокрыми хлопьями на лицо. Руки тоже зябли в мерзлой соломе, потому что я забыл вынуть рукавицы, а шевелиться под веревками было трудно. На каланче пробило двенадцать. Кошева тронулась, мы выехали за ворота, и лошадь быстро понесла по улице.

«Наконец-то! — подумал я. — Началось!» И ощущение холода в руках и в лице было мне приятно, как реальный признак того, что теперь уже действительно «началось». Ехали мы рысью минут двадцать,

потом остановились. Надо мной раздался резкий свист, очевидно, сигнал Никиты. Тотчас же послышался на некотором расстоянии ответный свист, и вслед затем донеслись какие-то неясные голоса. «Кто это разговаривает?»—подумал я с тревогой. Никита, очевидно, тоже разделял мое беспокойство, так как не развязывал меня, а что-то ворчал про себя.

— Кто это?—спросил я вполголоса сквозь солому.

— Чорт его знает, с кем он связался, — ответил Никита.

— Он пьян?

— То-то и есть, что не трезв.

Между тем из леса на дорогу выехали разговаривавшие.

— Ничего, Никита Серапионыч, ничего,—услышал я чей-то голос, — пусть этот суб'ект не беспокоится... это вот — друг мой, а это — старик, это — отец мой... эти люди — ни-ни...

Никита, ворча, развязал меня. Передо мной стоял высокий мужик, в малице, с открытой головой, ярко-рыжий, с пьяным и все же хитрым лицом, очень похожий на украинца. В стороне молча стоял молодой парень, а на дороге, держась за кошеву, выехавшую из леса, пошатывался старик, очевидно, уже совершенно побежденный вином.

— Ничего, господин, ничего... — говорил рыжий человек, в котором я угадал Никифора, — это мои люди, я за них ручаюсь. Никифор пьет, но ума не пропивает... Не беспокойтесь. На этаких быках (он

указал на оленей) — чтобы не доставить... Дядя Михаил Егорыч говорит: поезжай горой... давеча две остяцкие нарты проехали... а мне горой лучше... рекой меня всякий знает... Я как пригласил Михаила Егорыча на пельмени... хо-ро-ший мужик...

— Постой, постой, Никифор Иванович, вещи укладывай, — повысил голос Никита Серапионович.

Тот заторопился. В пять минут все было устроено, и я сидел в новой кошеве.

— Эх, Никифор Иваныч, — сказал с укоризной Никита, — напрасно ты этих людей привел: сказано тебе было... Ну, смотрите, — обратился он к ним, — чтоб вы ни-ни!

— Ни-ни... — ответил молодой мужик.

Старик только беспомощно помахал в воздухе пальцем. Я тепло простился с Никитой Серапионовичем.

— Трогай!

Никифор молодецки гикнул, олени рванули, и мы поехали.

Олени бежали бодро, свесив на бок языки и часто дыша чу-чу-чу-чу... Дорога шла узкая, животные жались в кучу, и приходилось дивиться, как они не мешают друг другу бежать.

— Надо прямо говорить, — обернулся ко мне Никифор, — лучше этих оленей нету. Это быки на выбор: семьсот оленей в стаде, а лучше этих нет. Михей-старик сперва и слушать не хотел: этих быков не отдам. Потом уж, как выпил бутылочку, говорит: «бери». А когда отдавал оленей, заплакал.

«Смотри, — говорит, — этому вожаку (Никифор указал на переднего оленя) цены нету. Если вернешься назад счастливо, я у тебя их за те же деньги куплю». Вот какие это быки! И деньги за них даны хорошие, — но только нужно правду сказать: стоят. Один вожак у нас стоит двадцать пять рублей. А только у дяди Михаил Осиповича можно было напрокат даром взять. Дядя мне прямо сказал: дурак Никифор. Так и сказал: «дурак ты, — говорит, — Никифор, зачем ты мне прямо не сказал, что ты везешь этого суб'екта?»

— Какого суб'екта? — перебил я рассказ.

— Да вас, например.

Я имел потом много случаев заметить, что слово с у б ' е к т было излюбленным в словаре моего возницы.

Едва мы от'ехали верст десять, Никифор вдруг решительно остановил оленей.

— Тут нам в сторону свернуть надо, верст пять в чум заехать... Там для меня гусь есть. Куда я в одной малице поеду? Я замерзну. У меня и записка от Никиты Серапионыча насчет гуся.

Я совершенно опешил пред этим нелепым предприятием: заезжать в чум в десяти верстах от Березова. Из уклончивых ответов Никифора я понял, что за гусем ему полагалось с'ездить еще вчера, но он пьянствовал последние два дня напролет.

— Как хотите, — сказал я ему, — я за гусем не поеду. Чорт знает, что такое! Нужно было позаботиться раньше... Если будет холодно, вы наденете под

малицу мою шубу, — она сейчас подо мной лежит. А когда доедем до места, я вам подарю полушубок, который на мне: он лучше всякого гуся.

— Ну, и хорошо, — сразу согласился Никифор,— зачем нам гусь? Мы не замерзнем. Го-го! — крикнул он на оленей. — Эти быки у нас без шеста пойдут. Го-го!

Но бодрости у Никифора хватило не надолго. Вино одолело его. Он совсем размяк, качался на нартах из стороны в сторону и все крепче засыпал. Несколько раз я будил его. Он встряхивался, толкал оленей длинным шестом и бормотал: «Ничего, эти быки пойдут»... И снова засыпал. Олени шли почти шагом, и только мои окрики еще отчасти подбадривали их. Так прошло часа два. Потом я сам задремал и проснулся через несколько минут, когда почувствовал, что олени стали. Со сна мне показалось, что все погибло. «Никифор!» — закричал я изо всех сил, дергая за плечо. Он в ответ бормотал какие-то бессвязные слова: «Что я могу делать? Я ничего не могу... Я спать хочу...»

Дело мое действительно обстояло очень печально. Мы едва от'ехали от Березова 30 — 40 верст. Стоянка на таком расстоянии вовсе не входила в мои планы. Я увидел, что шутки плохи, и решил «принять меры».

— Никифор, — закричал я, стаскивая капюшон с его пьяной головы и открывая ее морозу, — если вы не сядете как следует и не погоните оленей, я вас сброшу в снег и поеду один.

Никифор слегка очнулся: от мороза ли, или от моих слов, — не знаю. Оказалось, что во время сна он выронил из рук шест; шатаясь и почесываясь, он разыскал в кошеве топор, срубил у дороги молоденькую сосну и очистил ее от ветвей. Шест был готов, и мы тронулись.

Я решил держать Никифора в строгости.

— Вы понимаете, что вы делаете? — спросил я его как можно внушительнее. — Что это: шутки, что ли? Если нас нагонят, вы думаете, нас похвалят?

— Да разве я не понимаю? — ответил Никифор, все более и более приходя в чувство. — Что вы!... Вот только третий бык у нас слабоват... Первый бык хорош, лучше не надо, и второй бык хорош... ну, третий, надо правду говорить, совсем дрянь...

Мороз к утру заметно крепчал. Я надел поверх полушубка гусь и почувствовал себя прекрасно. Но положение Никифора становилось все хуже. Хмель выходил из него, мороз уже давно забрался к нему под малицу, и несчастный весь дрожал.

— Вы бы шубу надели, — предлагал я ему.

— Нет, теперь уже поздно: надо сперва самому обогреться и шубу нагреть.

Через час у дороги показались юрты: три — четыре жалкие бревенчатые избенки.

— Я на пять минут зайду, насчет дороги справлюсь и обогреюсь...

Прошло пять минут, десять, пятнадцать. К кошеве подошло какое-то существо, закутанное в меха, постояло и ушло. Стало чуть-чуть светать, и лес вместе

с жалкими юртами приняли в моих глазах какой-то зловещий отблеск.

«Чем вся эта история кончится-» — спрашивал я себя.—«Далеко ли я уеду с этим пьяницей? При такой езде нас не трудно нагнать. С пьяных глаз Никифор может бог знает чего наболтать каким-нибудь встречным; те передадут в Березов, и — конец. Если даже не нагонят, то дадут знать по телеграфу на все станции узкоколейной ветки... Стоит ли ехать дальше?»—спрашивал я себя с сомнением...

Прошло около получаса. Никифор не появлялся. Необходимо было его разыскать, а между тем я даже не заметил, в какой юрте он скрылся. Я подошел к первой от дороги и заглянул в окно. Очаг в углу ярко пылал. На полу стоял котелок, от которого шел пар. На нарах сидела группа с Никифором в центре; в руках его была бутылка. Я изо всех сил забарабанил по окну и стене. Через минуту появился Никифор. На нем была моя шуба, видневшаяся на два вершка из-под малицы.

— Садитесь! — крикнул я на него грозно.

— Сейчас, сейчас... — ответил он очень кротко,— ничего, я обогрелся, теперь поедем. Мы в ночь уедем так, что нас не видать будет. Вот только третий бык у нас того... выпрячь да выбросить...

Мы поехали...

*

Было уже часов 5. Луна давно взошла и ярко светила, мороз окреп, в воздухе было предчувствие

утра. Я давно уж надел поверх овчинного полушубка оленью шубу, в ней было тепло, в посадке Никифора чувствовалась уверенность и бодрость, олени бежали на славу, и я спокойно дремал. Время от времени просыпался и наблюдал все ту же картину. Ехали мы, очевидно, болотистыми, почти безлесными местами; мелкие чахлые сосны и березки торчали из-под снега, дорога вилась узкой, еле заметной полосой. Олени бежали с неутомимостью и правильностью автоматов, и громкое дыхание их напоминало шум маленьких моторов. Никифор откинул белый капюшон и сидел с открытой головой. Белые оленьи волосы набились в его рыжую лохматую голову, и казалось, что она покрылась инеем. «Едем, едем, — думал я, испытывая в груди прилив теплой волны радостного чувства. — Они могут меня день и два не хватиться.... Едем, едем...» И я снова засыпал.

Часов в девять утра Никифор остановил оленей. Почти у самой дороги оказался чум, большой шалаш из оленьих шкур, в форме усеченного конуса. Подле чума стояли нарты с запряженными оленями, лежали нарубленные дрова, на веревке висели свеже снятые оленьи кожи, на снегу валялась ободранная оленья голова с огромными рогами, двое детей в малицах и кисах возились с собаками.

— Откуда тут чум? — удивился Никифор. — Я думал, до Выжпуртымских юрт ничего не найдем. — Он справился: оказалось, что это харумпаловские остяки, живущие за 200 верст отсюда, промышляют здесь белку. Я собрал посуду и провизию, через не-

большое отверстие, прикрытое кожей, мы влезли в чум, чтоб позавтракать и напиться чаю.

— Пайси, — приветствовал Никифор хозяев.

— Пайси, пайси, пайси! — ответили ему с разных сторон.

На полу лежали кругом кучи меха, и в них копошились человеческие фигуры. Вчера здесь пили, и сегодня все с похмелья. Посреди помещения горел костер, и дым свободно выходил в большое отверстие, оставленное в вершине чума. Мы подвесили чайники и подложили дров. Никифор совершенно свободно разговаривал с хозяевами по-остяцки. Поднялась женщина с ребенком, которого она только что, очевидно, кормила, и, подвинулась к костру. Она была безобразна, как смерть. Я дал ей конфету. Тотчас же поднялись еще две фигуры и подвинулись к нам. «Просят водки»,—перевел мне Никифор их речи. Я дал им спирта, адского спирта в 95 градусов. Они пили, морща лицо, и сплевывали на пол. Выпила свою долю и женщина с открытою грудью. «Старик еще просит, — об'яснил мне Никифор, поднося вторую рюмку пожилому лысому остяку с лоснящимися красными щеками. — Я этого старика, — об'яснил он мне далее, — за четыре целковых до Шоминских юрт подрядил. Он на тройке вперед поедет, нам дорогу проложит, нашим оленям за его нартами бежать веселей будет».

Мы напились чаю, поели, я угостил хозяев на прощанье папиросами. Потом уложили все вещи на нарты старика, уселись и поехали. Яркое солнце

стояло высоко, дорога пошла лесом, в воздухе было светло и радостно. Впереди ехал остяк на трех белых беременных важенках (самках). У него в руках был огромной длины шест, заканчивавшийся сверху небольшой роговой шляпкой, а снизу заостренным металлическим наконечником; Никифор тоже взял себе новый шест. Важенки быстро несли легкие нарты старика, и наши быки подтянулись и не отставали ни на шаг.

— Почему старик головы не прикроет? — спросил я Никифора, с удивлением наблюдая лысую голову остяка, предоставленную морозу.

— Так хмель скорей выходит, — об'яснил мне Никифор.

И действительно, через полчаса старик остановил своих важенок и подошел к нам за спиртом.

— Нужно угостить старика, — решил Никифор, заодно угощая также и себя. — Ведь важенки-то у него запряжены стояли.

— Ну?

— В Березов за вином ехать собирался. Как бы, думаю, он там чего лишнего не сказал... Вот я его и нанял. Так наше дело будет вернее. Теперь когда-то он еще в городе будет: через два дня. Я-то не боюсь. Мне — что? Спросят: возил? А я почем знаю, кого возил? Ты — полиция, я — ямщик. Ты жалованье получаешь? Твое дело смотреть, мое дело возить. Правильно я говорю?

— Правильно!

Сегодня 19 февраля. Завтра открывается Государственная Дума. Амнистия! «Первым долгом Государственной Думы будет амнистия». Возможно... Но лучше дожидаться этой амнистии на несколько десятков градусов западнее. «Так наше дело будет вернее», как говорит Никифор.

*

Удивительные создания эти олени — без голода и без усталости. Они ничего не ели целые сутки до нашего выезда, да вот уже скоро сутки, как мы едем без кормежки. По об'яснению Никифора, они теперь только «разошлись». Бегут ровно, неутомимо, верст 8 — 10 в час. Каждые 10 — 15 верст делается остановка на две-три минуты, чтоб дать оленям оправиться; потом снова едут дальше. Такой перегон называется «оленьей побежкой», и так как версты здесь не меряны, то числом побежек измеряют расстояние. Пять побежек означает верст 60 — 70.

Когда мы достигнем Шоминских юрт, где расстанемся со стариком и его важенками, мы оставим позади себя, по крайней мере, десять побежек...

Часов в 9 вечера, когда уже было совсем сумеречно, нам впервые за все время езды попались навстречу несколько нарт. Никифор попробовал разминуться, не останавливаясь. Но не тут-то было: дорога так узка, что стоит немного свернуть в сторону — и олени тонут в снегу по брюхо. Нарты остановились. Один из встречных ямщиков подошел к нам,

в упор взглянул на Никифора и назвал его по имени: «Кого везешь? Далеко?».

— Недалеко... — ответил Никифор, — купца везу обдорского.

Эта встреча взволновала его.

— И угораздил его чорт встреч попасть! Пять лет его не видал, — узнал, чорт. Это зыряне ляпинские, сто верст отсюда, в Березов за товаром и за водкой едут. Завтра ночью в городе будут.

— Мне-то ничего, — сказал я, — нас уж не догонят. Не вышло бы только чего, когда вы вернетесь...

— А чего выйдет? Я скажу: мое дело возить, я — ямщик. Кто он — купец или «политик», на лбу тоже у ихнего брата не написано. Ты — полиция, ты гляди! Я — ямщик, я вожу. Правильно?

— Правильно.

Настала ночь, глубокая и темная. Луна теперь восходит только под утро. Олени, несмотря на тьму, твердо держались дороги. Никто не попадался нам навстречу. Только в час ночи мы вдруг выехали из тьмы в яркое пятно света и остановились. У самого костра, ярко горевшего на краю дороги, сидели две фигуры, большая и маленькая. В котелке кипела вода, и мальчик-остяк строгал на свою рукавицу кусочки кирпичного чаю и бросал в кипяток.

Мы вошли в свет костра, и наша кошева с оленями сразу утонула во мраке. У костра раздались звуки чуждой и непонятной речи. Никифор взял у мальчика чашку и, зачерпнув снега, погрузил на мгновение в кипящую воду; потом снова зачерпнул снега из-под

самого костра и снова опустил в котел. Казалось, он готовит какое-то таинственное питье над этим костром, затерявшимся в глубине ночи и пустыни. Потом он долго и жадно пил.

Олени наши, очевидно, начали уставать. При каждой остановке ложатся друг подле друга и глотают снег.

*

Около двух часов ночи мы приехали в Шоминские юрты. Здесь решили дать передышку оленям и покормить их. Юрты, это уж не кочевья, а постоянные бревенчатые жилища. Однако, громадная разница по сравнению с теми юртами, в каких мы останавливались по Тобольскому тракту. Там в сущности — крестьянская изба, с двумя половинами, с русской печью, с самоваром, со стульями, — только похуже и погрязнее обычной избы сибирского мужика. Здесь — одна «комната», с примитивным очагом вместо печи, без мебели, с низкой входной дверью, со льдиной вместо стекла. Тем не менее, я почувствовал себя прекрасно, когда снял гусь, полушубок и кисы, которые старая остячка тут же повесила у очага для просушки. Почти сутки я ничего не ел.

Как хорошо было сидеть на нарах, покрытых оленьей кожей, есть холодную телятину с полуоттаявшим хлебом и ждать чаю... Молодой остяк, с длинными косами, перевитыми красными суконными лентами, поднялся с нар и отправился кормить наших оленей.

— А чем он их кормить будет? — справился я.

— Мохом. Отпустит их на таком месте, где мох есть, — они уже его сами из-под снега добудут. Разроют яму, лягут в нее и наедятся. Много ли нужно оленю?

— А хлеба они не едят?

— Кроме моха, ничего не едят, — разве что с первых дней к печеному хлебу приучишь; да это редко бывает.

Чай готов, и я с жадностью поднес чашку ко рту. Но от воды невыносимо воняло рыбой. Я влил в чашку две ложки клюквенной эссенции и лишь этим заглушил рыбный запах.

— А вы не чувствуете? — спросил я Никифора.

— Нам рыба не мешает, мы ее сырую едим, когда она только что из невода, в руках трепещет — вкуснее нету...

Вошел остяк и предложил мне через Никифора купить у него пушнину, штук пятьдесят белки.

— Я вас обдорским купцом назвал, вот они белку и предлагают, — об'яснил мне Никифор.

— Скажите, что я к ним на обратном пути наведаюсь. Сейчас мне с собой возить не к чему.

Мы напились чаю, покурили, и Никифор улегся на нары соснуть, пока подкормятся олени. Мне тоже досмерти хотелось спать, но я боялся, что просплю до утра, сел с тетрадкой и карандашом у очага и стал набрасывать впечатления первых суток езды. Как все идет просто и благополучно. Даже слишком просто!..

У Шоминских юрт мы в'ехали на Сосьву. Дорога идет то рекой, то лесом. Дует резкий, пронизывающий ветер, и я лишь с трудом могу делать в тетради свои заметки. Сейчас мы едем открытым местом: между березовой рощей и руслом реки. Дорога убийственная. Ветер заносит на наших глазах узкий след, который оставляют за собою наши нарты. Третий олень ежеминутно оступается с набитой колеи. Он тонет в снегу по брюхо и глубже, делает несколько отчаянных прыжков, взбирается снова на дорогу, теснит среднего оленя и сбивает в сторону вожака. Рекой и замерзшим болотом приходится ехать шагом. В довершение беды захромал наш вожак — тот самый бык, которому нет равного. Волоча заднюю ногу, он честно бежит по ужасной дороге, и только низко опущенная голова и высунутый до земли язык, которым он жадно лижет на бегу снег, свидетельствует об его чрезмерных усилиях. Дорога сразу опустилась, и мы оказались меж двух снежных стен, аршина в полтора вышиною. Олени сбились в кучу, и казалось, что крайние несут на своих боках среднего. Я заметил, что у вожака передняя нога в крови.

— Я, однако, коновал мало-мало, — об'яснил мне Никифор, — кровь пускал ему, когда вы спали.

Он остановил оленей, вынул из-за пояса нож (у нас такие ножи называются финскими), подошел к больному быку и, взяв нож в зубы, долго ощупывал больную ногу. «Не пойму, что за притча такая»,—

сказал он, недоумевая, и стал ковырять ножом повыше копыта. Животное во время операции лежало, поджав ноги, без звука, и затем печально лизало кровь на больной ноге. Пятна крови, резко выделявшиеся на снегу, обозначали место нашей стоянки. Я настоял на том, чтоб в мою кошеву запрягли оленей шоминского остяка, а наши пошли под легкие нарты. Бедного хромого вожака привязали сзади. От Шомы мы едем около пяти часов, столько же придется еще проехать до Оурви, — и только там можно будет сменить оленей у богатого остяка, оленевода Семена Пантюя. Согласится ли он, однако, отпустить своих оленей в далекий путь? Я рассуждаю об этом с Никифором. Может быть, придется, говорю я ему, купить у Семена две тройки? «Ну, что же? — отвечал Никифор с вызовом, — и купим!». При мысли о новых затруднениях и тратах Никифор, когда он во хмелю, т.-е. почти всегда, приходит в азарт. Он совершенно отождествляет себя со мною, хитро подмигивает мне и говорит: «Дорога нам в копеечку войдет... Ну, да нам наплевать... Нам денег не жалко. Быки? Падет бык — купим нового. Чтоб я быков жалел — никогда: пока терпят — едем. Го-го! Главное дело до места доехать. Правильно я говорю?».

— Правильно!

— Никифор не довезет — никто не довезет. Мой дядя Михаил Осипович (добрый мужик!) говорит мне: Никифор, ты везешь этого суб'екта? Вези. Бери шесть быков из моего стада — вези. Даром бери. А ефрей-

тор Сусликов говорит: везешь? Вот тебе пять целковых.

— За что? — спрашиваю я Никифора.

— Чтоб вас увез.

— Будто за это? А ему-то что?

— Ей богу, за это. Он братьев любит, он за них горой стоит. Потому, будем говорить, за кого вы страдаете? За мир, за бедняков. Вот тебе, говорит, Никифор, пять целковых — вези, благословляю. В мою, говорит, голову вези.

Дорога вступает в лес, и сразу становится лучше: деревья охраняют ее от заносов. Солнце уже высоко стоит на небе, в лесу тихо, и мне так тепло, что я снимаю гусь и остаюсь в одном полушубке. Шоминский остяк с нашими оленями все время отстает, и нам приходится его поджидать. Со всех сторон нас окружает сосна. Огромные деревья, без ветвей до самой вершины, яркожелтые, прямые, как свечи. Кажется, что едешь старым прекрасным парком. Тишина абсолютная. Изредка только снимется с места пара белых куропаток, которых не отличаешь от снежных кочек, и улетит глубже в лес. Сосна резко обрывается, дорога круто спускается к реке, мы опрокидываемся, оправляемся, пересекаем Сосьву и снова едем по открытому месту. Только редкие малорослые березки возвышаются над снегом. Должно быть, болотом едем.

— А сколько верст мы проехали? — справляюсь я у Никифора

— Да верст 300, надо быть. Только кто его знает? Кто здешни версты мерял? Архангел Михаил, больше никто не мерял... Про наши версты давно сказано: меряла баба клюкой, да махнула рукой... Ну, да ничего: дня через три будем на заводах, только бы погода продержалась. А то бывает — ой-ой... Раз меня под Ляпиным буран захватил: в трое суток я пять верст проехал... Не дай бог!

■

Вот и малые Оурви: три-четыре жалкие юрты, из них только одна жилая... Верст через десять приедем в Большие Оурви. Застанем ли там Семена Пантюя? Достанем ли у него оленей? На наших ехать дальше нет никакой возможности...

■

...Неудача! В Оурви мы не застали мужиков: они с оленями стоят в чуме, на расстоянии двух оленьих побежек; приходится проехать несколько верст назад и затем свернуть в сторону. Если-б остановились в Малых Оурви и разведали там, мы с'экономили бы несколько часов. В настроении, близком к отчаянию, я дожидался, пока бабы добывали нам одного оленя на смену нашему захромавшему вожаку. Как всюду и везде, оурвинские бабы находились в состоянии похмелья, и, когда я стал разворачивать с'естные продукты, они попросили водки. Разговариваю с ними через Никифора, который с одинаковой свободой говорит по-русски, по-зырянски и на двух остяцких наречиях: верховом и низовом, почти несхожих ме-

жду собою. Здешние остяки по-русски не говорят ни слова.

Мы едем к чуму. Какая дичь и глушь кругом! Олени бродят по сугробам снега, путаются между деревьями в первобытной чаще, — и я решительно недоумеваю, как ямщик определяет дорогу. У него имеется для этого какое-то особое чувство, как и у этих оленей, которые удивительнейшим образом лавируют своими рогами в чаще сосновых и еловых ветвей. У нового вожака, которого нам дали в Оурви, огромные ветвистые рога, не менее пяти-шести четвертей длиною. Дорога на каждом шагу перегорожена ветвями, и кажется, что олень вот-вот запутается в них своими рогами. Но он в самую последнюю минуту делает еле заметное движение головой, — и ни одна игла не дрогнет на ветке от его прикосновения.

* * *

Неудача и здесь! Старик-хозяин уехал с работником в летний чум, где осталась часть оленей. Ждут его с часа на час, но когда именно он приедет, неизвестно. А без него его сын, молодой парень с рассеченной пополам верхней губой, не решается сговориться. Приходится ждать. Никифор отпустил оленей кормиться мохом, а для того, чтобы не смешать их с туземными оленями, провел несколько раз ножем по спине обоих быков и оставил на шерсти свои инициалы. Потом он на досуге поправил нашу кошеву, которая совсем растряслась дорогой. С отчаянием в душе я бродил по поляне, потом вошел в чум. На

коленях у молодой остячки сидел совершенно голый мальчик лет трех-четырех: мать одевала его. Как они живут с детьми в этих шалашах при сорока и пятидесятиградусных морозах? «Ночью ничего, — об'яснял мне Никифор, — зароешься в меха и спишь. Я и сам, ведь, не одну зиму в чумах прожил. Остяк, так тот голым на ночь разденется, да в малицу так и влезет. Спать ничего, вставать худо. От дыхания вся одежда закуржует, хоть топором руби... Вставать худо». Молодая остячка завернула мальчика подолом своей малицы и приложила его к груди. Здесь кормят детей грудью до пяти-шести лет.

Я вкипятил на очаге воду. Не успел оглянуться, как Никифор насыпал себе на ладонь (господи, что это за ладонь!) чаю из моей коробки и всыпал в чайник. У меня не хватило мужества сделать ему замечание, и теперь придется пить чай, побывавший на ладони, которая видела многое, но давно не видела мыла...

*

Сумерки все больше сгущаются. Ясно, что никто уж не станет к ночи ловить оленей, но не хочется сдавать последнюю надежду, и я жду старика с таким нетерпением, с каким его, может быть, никто не ждал в течение всей его долгой жизни. Было уже совсем темно, когда он, наконец, приехал с работником. Хозяин вошел в чум чинно, поздоровался с нами и уселся у очага. Его лицо, умное и властное, поразило меня.

— Скажите ему, — подталкивал я Никифора, — что же время терять?

— Погодите, сейчас еще нельзя: ужинать сядут.

Вошел работник, рослый, плечистый мужик, гнусаво поздоровался, переменил в углу промокшие обутки и подвинулся к костру. Что за ужасная физиономия! Нос совершенно исчез с этого несчастного лица, верхняя губа высоко поднята, рот всегда полуоткрыт и обнажает могучие белые зубы. Я в ужасе отвернулся.

— Может быть, время поднести им спирту? — спросил я Никифора с уважением к его авторитету.

— Самое время! — ответил Никифор.

Я достал бутылку. Невестка, которая с приходом старика начала прикрывать свое лицо, зажгла у костра кусок бересты и, пользуясь ею как лучиной, разыскала в сундуке металлическую чарку. Никифор вытер чарку подолом своей рубахи и налил до краев. Первая порция была поднесена старику. Никифор об'яснил ему, что это спирт. Тот важно кивнул головой и молча выпил большую чарку спирта в 95°; ни один мускул не дрогнул на его лице. Потом пил младший сын, с рассеченной верхней губой. Он выпил через силу, сморщил свое жалкое лицо и долго плевал в костер. Потом выпил работник и долго качал головой из стороны в сторону. Никифор выплеснул остатки в костер, чтоб показать, каким продуктом он угощает: спирт вспыхнул ярким пламенем.

— Таак [1], — сказал спокойно старик.

---

1 Крепкий

— Таак,—повторил сын, выпуская изо рта струю слюны.

— Сака таак [1],—подтвердил работник.

Потом выпил Никифор и тоже нашел, что слишком крепко. Разбавили спирт чаем. Никифор заткнул горлышко пальцем и помахал в воздухе бутылкой. Все еще раз выпили. Потом еще раз разбавили и еще выпили. Наконец, Никифор принялся излагать, в чем дело.

— Сака хоза,—сказал старик.

— Хоза, сака хоза,—повторили за ним все хором.

— Что говорят? — спросил я нетерпеливо Никифора.

— Говорят: очень далеко... Тридцать рублей просит до заводов на проход.

— А сколько возьмет до Няксимволи?

Никифор что-то проворчал с явным неудовольствием, причину которого я понял только впоследствии, но все же поговорил со стариком и ответил мне:—до Няксимволи—13 рублей, до заводов—30.

— А когда ловить оленей?

— Чуть свет.

— А сейчас никак нельзя?

Никифор с ироническим видом перевел им мой вопрос. Все засмеялись и отрицательно покачали головами. Я понял, что ночевка неизбежна, и выбрался из чума на свежий воздух. Тихо и тепло. Я побродил с полчаса по поляне и затем улегся спать в кошеве.

[1] Очень крепкий

Несколько раз я просыпался в тревоге, но кругом стояла тьма. В начале пятого, когда часть неба просветлела, я пробрался в чум, ощупал среди других тел Никифора и растормошил его. Он поднял на ноги весь чум. Очевидно, лесная жизнь в морозные зимы не проходит этим людям даром: проснувшись, они так долго кашляли, отхаркивались и плевали на пол, что я не выдержал этой сцены и выбрался на свежий воздух.

Вскоре безносый работник и младший сын с рассеченной губой ушли на лыжах с собаками сгонять оленей к чуму. Но прошло добрых полчаса, прежде чем из леса появилась первая группа оленей.

— Должно быть, пошевелили, — об'яснил мне Никифор,—теперь все стадо скоро здесь будет.

Но оказалось не так. Только часа через два собралось довольно много оленей. Они тихо бродили вокруг чума, рыли мордами снег, собирались в группы, ложились. Солнце уже поднялось над лесом и освещало снежную поляну, на которой стоит чум. Силуэты оленей, больших и малых, темных и белых, с рогами и без рогов, резко вырисовываются на фоне снега. Удивительная картина, которая кажется фантастической и которой никогда не забудешь. Оленей охраняют собаки. Маленькое лохматое животное набрасывается на группу оленей, голов в пятьдесят, как только те отдалятся от чума,—и олени в бешеном страхе мчатся назад, на поляну.

Но даже эта картина не могла прогнать мысли о потерянном времени. День отрытия Государственной Думы—двадцатое февраля—был для меня несчастным днем. Я дожидаюсь полного сбора оленей в лихорадочном нетерпении. Сейчас уже десятый час, а стадо далеко еще не согнано. Потеряли сутки; теперь уже ясно, что раньше 11—12 ч. выехать не удастся, да до Оурви отсюда еще верст 20 — 30 по плохой дороге. При неблагоприятной комбинации обстоятельств меня могут сегодня нагнать. Если допустить, что на другой же день полиция хватилась и от кого-либо из бесчисленных собутыяьников Никифора узнала, по какому пути он поехал, она могла еще 19-го в ночь нарядить погоню. Мы едва от'ехали 300 верст. Такое расстояние можно сделать в сутки—полторы. Следовательно, мы как раз дали неприятелю достаточно времени, чтобы догнать нас. Эта задержка может стать роковой.

Я начинаю придираться к Никифору. Ведь я говорил вчера, что нужно немедленно с'ездить за стариком, а не ждать. Можно было ему накинуть несколько лишних рублей, только бы выехать с вечера. Конечно, если-б я сам говорил по-остяцки, я бы все это устроил. Но потому-то я и еду с Никифором, что не говорю по-остяцки... и т. д.

Никифор угрюмо смотрит мимо меня.

— Что ж ты с ним поделаешь, когда не хотят? И олень у них раскормленный, балованный,—как ты его ночью поймаешь? Ну, да ничего, — говорит он, поворачиваясь ко мне,—доедем!

— Доедем?

— Доедем!

Мне тоже начинает сразу казаться, что ничего, что доедем. Тем более, что уж вся поляна сплошь покрыта оленями, а из лесу показываются на лыжах остяки.

■

— Сейчас будут имать оленей,—говорит Никифор.

Я вижу, как остяки берут в руки по аркану. Старик-хозяин медлительно собирает петлю на левой руке. Потом все они долго перекрикиваются о чем-то. Очевидно, уславливаются, вырабатывают план действий и намечают первую жертву. Никифор тоже посвящен в заговор. Он всполошил какую-то группу оленей и погнал ее в широкий промежуток между стариком и сыном. Работник стоит дальше. Испуганные олени мчатся сплошной массой. Целый ручей голов и рогов. Остяки зорко следят за какой-то точкой в этом потоке. Раз! Старик бросил свой аркан и недовольно покачал головой. Раз! Молодой остяк тоже промахнулся. Но вот безносый работник, который на открытом месте, среди оленей, внушил мне сразу уважение своим стихийно-уверенным видом, метнул аркан, и уже по движению его руки видно было, что он не промахнется. Олени шарахнулись от веревки, но белый большой олень с бревном на шее, сделав два-три прыжка, остановился и завертелся на месте: петля опутала его вокруг шеи и рогов.

Никифор об'яснил мне, что это поймали самого хитрого оленя, который мутит все стадо и уводит его в самый нужный момент. Теперь белого бунтаря привяжут, и дело пойдет лучше. Остяки стали снова собирать свои арканы, наматывая их на левую руку. Потом перекрикивались, вырабатывая новый план действий. Бескорыстный азарт охоты овладел и мною. Я узнал от Никифора, что теперь хотят поймать вон ту широкую важенку с короткими рогами, и принял участие в военных действиях. Мы погнали с двух сторон группу оленей в ту сторону, где настороже стояло три аркана. Но важенка, очевидно, знала, что ждет ее. Она сразу бросилась в сторону и ушла бы совсем в лес, если б ее не переняли собаки. Пришлось снова предпринять ряд обходных движений. Победителем оказался и на этот раз работник, который улучил момент и набросил хитрой важенке петлю на шею.

— Это—важенка неплодная,—об'яснил мне Никифор, — телят не носит, поэтому в работе очень крепка.

Охота становилась интересной, хотя и затягивалась. После важенки поймали сразу в два аркана огромного оленя, который походил на подлинного быка. Затем произошел перерыв: группа нужных оленей вырвалась из круга и ушла в лес. Снова работник с младшим сыном ушли на лыжах в лес, и мы ждали их около получаса. Под конец охота пошла успешнее, и общими силами поймали тринадцать оленей: семь—нам с Никифором в дорогу и шесть штук —

хозяевам. Около одиннадцати часов мы выехали, наконец, на четырех тройках из чума по направлению к Оурви. «На заводы» с нами поедет работник. Сзади его нарты привязан седьмой, запасной олень.

■

Захромавший бык, которого мы, уезжая в чум, оставили в оурвинских юртах, так и не поправился. Он печально лежал на снегу и дался в руки без аркана. Никифор еще раз пустил ему кровь—так же бесцельно, как и прежде... Остяки стали уверять, что олень вывихнул себе ногу. Никифор постоял над ним в недоумении и затем продал его на мясо одному из здешних хозяев за восемь рублей. Тот потащил бедного оленя на веревке. Так печально кончилась судьба оленя, «которому нет равного в мире».

Сегодня так тепло, что подтаивает. Снег размяк и мокрыми комьями летит из-под копыт во все стороны. Оленям тяжело. Вожаком у нас идет однорогий бык довольно скромного вида. Справа — бесплодная важенка, усердно перебирающая ногами. Между ними — жирный малорослый олень, впервые узнавший сегодня, что такое упряжка. Под конвоем слева и справа он честно выполняет свои обязанности. Остяк ведет впереди нарты с моими вещами.

Дорога так тяжела, что на передних нартах дважды обрывались постромки: при каждой остановке полозья примерзают к дороге, и нарты трудно сдвинуть с места. После первых двух побежек олени уже заметно устали.

— Остановимся ли мы в Нильдинских юртах чай пить?—спросил меня Никифор.—Следующие юрты далече.

Я видел, что ямщикам хочется чаю, но мне жалко было терять время, особенно после того, как мы сутки простояли в Оурви. Я дал отрицательный ответ.

— Ваша воля,—ответил Никифор и сердито ткнул шестом бесплодную важенку.

Молча мы проехали еще верст сорок: когда Никифор трезв, он угрюм и молчалив. Стало холоднее, дорога подмерзла и все улучшалась. Мягкая, но нетопкая,—самая дельная дорога, как говорит Никифор. Олени ступали чуть слышно и тянули нарты шутя. В конце концов, пришлось отпрячь третьего и привязать сзади, потому что от безделья олени шарахались в сторону и могли разбить кошеву. Нарты скользили ровно и бесшумно, как лодка по зеркальному пруду. В густых сумерках лес казался еще более гигантским. Дороги я совершенно не видел, передвижения нарт почти не ощущал. Казалось, заколдованные деревья быстро мчались на нас, кусты убегали в сторону, старые пни, покрытые снегом, рядом со стройными березками проносились мимо нас. Все казалось полным тайны. Чу-чу-чу-чу... слышалось частое и ровное дыхание оленей в безмолвии лесной ночи.

В полудремоте мною начинает овладевать тревожная мысль. По обстановке моей поездки остяки должны меня принимать за богатого купца. Глухой лес, темная ночь, на 50 верст вокруг ни человека, ни собаки. Что их может остановить? Хорошо еще, что у меня есть

револьвер. Но ведь этот револьвер заперт в саквояже, а саквояж увязан на нартах ямщика, — того самого безносого остяка, который мне в данную минуту начинает почему-то казаться особенно подозрительным. Непременно нужно будет,—решаю я,—извлечь на стоянке револьвер из саквояжа и положить рядом с собою.

Удивительное существо этот наш ямщик! Повидимому, отсутствие носа не повлияло на его обоняние; кажется, будто он чутьем определяет место и находит дорогу. Он знает каждый куст и чувствует себя в лесу, как в юрте. Вот он что-то сказал Никифору: оказывается, здесь под снегом должен быть мох, значит, можно покормить оленей. Мы остановились и выпрягли оленей. Было часа три ночи.

Никифор об'яснил мне, что их, зырянские, олени хитрые, и что сколько он, Никифор, ни ездил, никогда не отпускал их кормиться вольно, а всегда кормил на привязи. Отпустить оленя легко,—а если потом не поймаешь? Но остяк держался других взглядов и решил отпустить своих оленей на честное слово. Такое благородство подкупало, но я с сомнением всматривался в оленьи морды. Что, если им покажется более привлекательным тот мох, который растет в окрестностях оурвинского чума? Это было бы поистине печально. Впрочем, прежде чем отпустить оленей ямщики срубили две высокие сосны и разрубили их на семь бревен, аршина полтора каждое. Бревна эти были, в качестве сдерживающего начала, подвешены на шех

каждому оленю в отдельности. Надо надеяться, что эти брелоки не окажутся слишком легкими...

Отпустив оленей, Никифор нарубил дров, обтоптал вблизи дороги круг в снегу и разложил в углублении костер, а вокруг настлал еловых ветвей и устроил помост для сиденья. На двух сырых ветках, воткнутых в снег, повесили два котелка и набивали их снегом, по мере того, как он таял... Чаепитие у костра на февральском снегу показалось бы, вероятно, гораздо менее привлекательным, если-б хватил мороз градусов в 40—50. Но небо удивительно покровительствовало: стояла тихая и теплая погода.

Боясь проспать, я не лег вместе с ямщиками. Около двух часов просидел у костра, поддерживая в нем огонь и записывая при его мерцающем свете путевые впечатления.

Чуть свет я разбудил ямщиков. Оленей поймали без всяких затруднений. Пока их привели и запрягали, стало совсем светло. У остяка был заспанный вид, и мои ночные подозрения рассеялись, как дым. Заодно я вспомнил, что в древнем револьвере, который я добыл перед от'ездом, только два патрона, и что меня убедительно просили не стрелять из него, во избежание несчастным случаев. Револьвер так и остался в саквояже.

■

После ночной кормежки оленей мы проехали мимо Сарадейских и Менк-я-паульских юрт. Только в Ханглазских мы сделали привал. Здесь народ, пожалуй, еще дичее, чем в других юртах. Все им в диковину.

Мои столовые принадлежности, мои ножницы, мои чулки, одеяло в кошеве,—все вызывало восторг изумления. При виде каждой новой вещи все крякали. Для справки я развернул перед собою карту Тобольской губернии и прочитал вслух имена всех соседних юрт и речек. Они слушали, разиня рты, и, когда я кончил, хором заявили, как перевел Никифор, что все совершенно верно. У меня не оказалось мелочи, и в благодарность за кров и очаг я дал всем мужикам и бабам по три папиросы и по конфете. Все были довольны.

— А скоро Дума соберется?—спрашивает меня неожиданно Никифор.

— Да вот уже третьего дня собралась...

— Ага... Что-то она теперь скажет? Надо бы *их*, надо бы урезонить, едят их мухи. Нашего брата вовсе прижучили. Мука, например, была рубль пятьдесят копеек, а теперь, вот, остяк говорил, рубль восемьдесят стала. Как жить при этаких ценах? А нас, зырян, пуще теснят: соломы воз привез—плати, дров сажень поставил—плати. Русские и остяки говорят: «земля наша». Думе бы надо в этом деле вступиться. Урядник-то у нас ничего—маховый человек, а вот пристав не под нашу лапу.

— Не очень-то Думе дадут вступиться: разгонят.

— Вот-то-то и есть, что разгонят.

В Няксимвольские юрты мы приехали ночью. Оленей здесь сменить можно, и я решил это сделать, несмотря на оппозицию Никифора. Он все время настаивал, чтобы нам ехать на оурвинских оленях «на про-

ход», без смены, приводя самые несообразные аргументы и чиня мне всякие препятствия при переговорах. Я долго дивился его поведению, пока не понял, что он заботится об обратном пути: на оурвинских оленях он вернется обратно в чум, где оставил своих. Но я не сдался, и за 18 рублей мы наняли свежих оленей до Никито-Ивдельского, большого золотопромышленного села под Уралом. Это последний пункт «оленного» тракта. Оттуда до железной дороги придется еще верст полтораста проехать на лошадях. От Няксимволи до Ивделя считается 250 верст—сутки хорошей езды.

Здесь повторилась та же история, что в Оурви: ночью ловить оленей невозможно; пришлось заночевать.

■

Выехать отсюда нам удалось только после полудня. Новый ямщик, как все ямщики, обещал выехать «чуть свет», а в действительности привел оленей только к 12 часам дня. С нами он отправил мальчика.

Солнце светило ослепительно ярко. Трудно было открыть глаза, даже сквозь веки снег и солнце вливались в глаза расплавленным металлом. И в то же время дул ровный, холодный ветер, не дававший снегу таять. Только, когда въехали в лес, глаза получили возможность отдохнуть.

Ночью мы снова остановились, отпустили оленей, развели костер, пили чай, и утром я снова в лихорадочном состоянии ожидал оленей. Прежде чем отпра-

виться за ними, Никифор предупредил, что у одного из них отвязалась колотушка.

— Что ж он, ушел?

— Бык-то здесь, — ответил Никифор, и тут же начал обстоятельно бранить хозяина оленей, который не дал в дорогу никакой справы: ни веревки, ни аркана. Я понял, что дело обстоит не вполне благополучно.

Сперва был пойман бык, случайно подошедший к нартам. Никифор долго хрипел по-оленьи, чтоб заслужить расположение быка. Тот подходил совсем близко, но как только замечал подозрительное движение, немедленно бросался назад. Эта сцена повторялась раза три. Наконец Никифор разостлал петлями небольшую веревку, снятую с кошевы, и прикрыл ее снегом. Потом стал снова вкрадчиво хрипеть и курлыкать. Когда олень приблизился, осторожно ступая ногами, Никифор рванул веревку, и колотушка оказалась в петле. Пойманного быка на веревке потащили в лес, к остальным оленям, в качестве парламентера. После того прошел добрый час. В лесу совсем рассвело. Время от времени я слышал в отдалении человеческие голоса. Потом снова все затихло. Как обстоит дело с оленем, избавившимся от колотушки? В дороге я слышал поучительные рассказы о том, как приходится иногда по три дня разыскивать ушедших оленей.

Нет, ведут!

Сперва поймали всех оленей, кроме «вольного». Тот бродил вокруг да около и не поддавался ни на какую лесть. Потом сам подошел к пойманным оленям,

стал среди них и уткнул морду в снег. Никифор подкрался к нему ползком и схватил вольника за ногу. Тот рванулся, опрокинулся сам и опрокинул человека. Но не тут-то было! Победителем оказался Никифор.

Около 10 часов утра приехали в Соу-вада. Три юрты заколочены, только одна жилая. Все население юрты было пьяно и спало вповалку. На наше приветствие никто не откликнулся. Изба большая, но невероятно грязная, без всякой мебели. В окне—треснувшая льдинка, припертая снаружи палками. На стене двенадцать апостолов, портреты всех монархов и об'явление резиновой мануфактуры.

Никифор сам развел огонь в очаге. Потом встала остячка, пошатываясь от хмеля. Подле нее спали трое ребят, один—грудной.

— Почему так много везде пустых юрт?—спрашивал я Никифора, когда мы выехали из Соу-вада.

— От разных причин... Если кто помер в избе, остяк в ней жить не будет: или продаст, или заколотит, или перенесет на новый оклад. Вот юрты и пустуют.

— Вот что, Никифор Иванович, вы теперь меня купцом больше не называйте... Как станем выезжать на заводы, вы говорите про меня, что я инженер из экспедиции Гете. Слыхали про эту экспедицию?

— Не слыхал.

— Видите ли, есть проект провести железную дорогу от Обдорска к Ледовитому океану, чтоб сибир-

ские товары можно было оттуда на пароходах прямо вывозить за границу. Вот вы и говорите, что я ездил в Обдорск по этому делу.

*

День был на исходе. До Ивделя оставалось меньше полусотни верст. Мы приехали в вогульские юрты Ойка-пауль. Я попросил Никифора войти в избу—посмотреть, что и как. Он вернулся минут через десять. Оказалось, изба полна народа. Все пьяны. Пьют местные вогулы вместе с остяками, везущими купеческую кладь в Няксимволи. Я отказался входить в избу из опасения, чтоб Никифор не напился под самый конец. «Я пить не буду,—успокаивал он меня,—только куплю у них бутылочку в дорогу».

К нашей кошеве подошел высокий мужик и стал о чем-то по-остяцки спрашивать Никифора. Подошедший был не вполне трезв. Никифор, ходивший в юрту за справкой, тоже успел потерять за этот короткий промежуток необходимое равновесие. Я вмешался в разговор. «Чего он хочет?»—спросил я Никифора, принимая его собеседника за остяка. Но тот ответил сам за себя. Он обратился к Никифору с обычным вопросом: кто едет и куда? Никифор послал его к чорту, что и послужило основой дальнейшего обмена мыслей.

— Да вы кто будете: остяк или русский?—спросил я в свою очередь.

— Русский, русский... Широпанов я, из Няксимволи. А вы не из компании ли Гете будете?—спросил он меня.

Я был поражен.

— Да, из компании Гете. А вы откуда знаете?

— Меня туда приглашали из Тобольска, когда отправлялись еще для первого исследования. Один англичанин тогда был там, инженер, Чарльз Вильямович... вот фамилию его я забыл...

— Путман?—подсказал я наобум.

— Путман? Нет, не Путман... Путманова жена была, а тот назывался Крузе.

— А теперь что вы делаете?

— У Шульгиных в Няксимволи приказчиком служу, с их кладью еду. Только вот третьи сутки хвораю: все тело ломит...

Я предложил ему лекарства. Пришлось войти в юрту.

*

Огонь в очаге догорал, и никто о нем не заботился, было почти совсем темно. Изба полным-полна. Сидели на нарах, на полу, стояли. Женщины, при виде нового приезжего, по обыкновению полузакрыли платками лица. Я зажег свечу и отсыпал Широпанову салицилового натру. Тотчас же меня со всех сторон обступили пьяные и полупьяные остяки и вогулы с жалобами на свои болезни. Широпанов был переводчиком, и я добросовестно давал от всех болезней хинин и салициловый натр.

— А верно, что ты там живешь, где царь живет?— спросил меня ломаным русским языком старый, высохший вогул маленького роста.

— Да, в Петербурге,—ответил я.

— Я на выставке был, всех видел, царя видал, полицмейстера видал, великого князя видал...

— Вас туда депутацией возили? В вогульских костюмах?

— Да, да, да...—все утвердительно замахали головами.

— Я тогда моложе был, крепче... Теперь старик, хвораю...

Я и ему дал лекарства. Остяки были мною очень довольны, пожимали руки, в десятый раз упрашивали выпить водки и очень огорчались моими отказами. У очага сидел Никифор, пил чашку за чашкой, чередуя чай с водкой. Я несколько раз многозначительно взглядывал в его сторону, но он сосредоточено глядел в чашку, делая вид, что не замечает меня. Пришлось дожидаться, пока Никифор напьется «чаю».

— Мы третьи сутки из Ивделя едем, сорок пять верст, все время пьют остяки. В Ивделе у Митрия Митрича стояли, у Лялина. Отличный человек. Он с заводов новые книжки привез: «Народный календарь», газету тоже. В календаре, например, точно показано кто сколько жалованья получает: кто 200 тысяч, кто —полтораста. За что, например? Я этого ничего не признаю. Я вас не знаю, господин, а только я вам прямо говорю: мне... не надо... не желаю... не к чему..: Двадцатого числа Дума собралась; эта будет еще получше прежней. Посмотрим, посмотрим, что сделают господа социалы... Социалов там человек пятьдесят будет, да народников полтораста, да кадетов сто... Черных совсем мало.

— А сами вы какой партии сочувствуете, если можно узнать?—спросил я.

— Я по своим убеждениям социал-демократ... потому что социал-демократия все рассматривает с точки зрения научного основания.

Я протер глаза. Глухая тайга, грязная юрта, пьяные вогулы и приказчик какого-то мелкого кулака заявляет, что он социал-демократ в силу «научного основания». Признаюсь, я почувствовал прилив партийной гордости.

Время было усаживаться на нарты. Вогулы окружили нас на дворе с зажженной свечой, которую я, по их просьбе, подарил им. Было так тихо, что свеча не тухла. Мы много раз прощались, какой-то молодой остяк даже сделал попытку поцеловать мою руку. Широпанов принес шкуру дикого оленя и положил ее на мою кошеву в качестве подарка. Уплаты ни за что не хотел принять, и мы кончили тем, что я подарил ему бутылку рому, которую вез «на всякий случай». Наконец, тронулись.

■

К Никифору вернулась его говорливость. Он в сто первый раз рассказывал мне, как он сидел у брата, как пришел Никита Серапионович — «хитрый мужик!» — и как он, Никифор, сперва отказался, и как ефрейтор Сусликов дал ему пять целковых и сказал «вези!» — и как дядя Михаил Егорыч — «добрый мужик!» — сказал ему: «Дурак! зачем сразу не сказал, что везешь этого суб'екта?»... Закончив, Никифор начинал снова: «Я вам теперь окончательно

откроюсь... Сидел я у брата, у Пантелей Ивановича, не пьяный, а выпивши, как сейчас. Ну, ничего, сидел. Вдруг это, слышу, приходит Никита Серапионыч»...

— Ну вот, Никифор Иванович, скоро приедем. Спасибо вам. Никогда трудов ваших не забуду. Если-б только можно было, я бы и в газетах напечатал: «Покорнейше, мол, благодарен Никифору Ивановичу Хренову, без него не уехать бы мне никогда».

— А почему ж нельзя?

— А полиция?

— Да, верно. А то хорошо бы.

■

Часа в четыре ночи мы приехали в Ивдель. Остановились и Дмитрия Дмитриевича Лялина, которого Широпанов мне рекомендовал. Он оказался сердечным и любезнейшим человеком, которому я рад здесь высказать искреннюю признательность.

— У нас тихая жизнь, — рассказывал он мне за самоваром. — Даже революция нас не коснулась. Событиями мы, конечно, интересуемся, следим за ними по газетам, сочувствуем передовому движению, в Думу посылаем левых, но самих нас революция на ноги не подняла. На заводах, в рудниках — там были стачки и демонстрации. А мы тихо живем, даже полиции у нас нет, кроме горного урядника... Телеграф только у Богословских заводов начинается, там же и железная дорога, верст 130 отсюда. Здесь поезжайте до Рудников смело, никто не остановит: можно отправиться на земской почте, можно на вольных. Я вам найду ямщика.

●

С Никифором мы распрощались. Он еле держался на ногах.

— Смотрите, Никифор Иванович, — сказал я ему, — как бы вас вино на обратном пути не подвело.

— Ничего... что будет брюху, то и хребту, — ответил он мне на прощанье.

*

Здесь, в сущности, кончается «героический» период истории моего побега — переезд на оленях по тайге и тундре на протяжении семи—восьмисот верст. Дальнейшее путешествие ничем не походило на побег. Значительную часть пути до Рудников я проделал в одной кошеве с акцизным чиновником, производившим по тракту учет винных лавок.

В Рудниках я заехал кое к кому справиться, насколько безопасно садиться здесь на железную дорогу. Провинциальные конспираторы очень напугали меня местным шпионажем и рекомендовали, прождав неделю в Рудниках, ехать с обозом на Соликамск, где будто бы все окажется не в пример безопаснее. Я не внял этому совету — и не жалею об этом. 25 февраля ночью я без всяких затруднений сел у Рудников в вагон узкоколейной железной дороги и после суток медленной езды пересел на станции Кушва в поезд Пермской дороги. Затем через Пермь, Вятку и Вологду я прибыл в Петербург вечером 2 марта. Таким образом пришлось пробыть в пути двенадцать суток, чтоб получить возможность проехать на извозчике

по Невскому проспекту. Это совсем недолго: «туда» мы ехали месяц.

На под'ездном уральском пути положение мое было далеко еще не обеспеченным: по этой ветке, где замечают каждого «чужого» человека, меня на каждой станции могли арестовать по телеграфному сообщению из Тобольска. Но когда я через сутки оказался в удобном вагоне Пермской дороги, я сразу почувствовал, что дело мое выиграно. Поезд проходил через те же станции, на которых недавно нас с такой торжественностью встречали жандармы, стражники и исправники. Но теперь мой путь лежал совсем в другом направлении, и ехал я совсем с другими чувствами. В первые минуты мне показалось тесно и душно в просторном и почти пустом вагоне. Я вышел на площадку, где дул ветер и было темно, и из груди моей непроизвольно вырвался громкий крик — радости и свободы!

А поезд Пермь-Котласской дороги увозил меня вперед, вперед и вперед.

ОБ'ЯСНЕНИЕ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В КНИЖКЕ МАЛОПОНЯТНЫХ СЛОВ

К а м е р а — комната *(в тюрьме)*.

П р е д в а р и л к а — иначе, дом предварительного заключения — тюрьма, в которой заключенные содержатся до суда.

К а ю т а — комната *(обычно на пароходе)*.

Э т а п н ы й п у т ь — путь, по которому арестанты под конвоем полиции следуют к месту назначения.

К л а с с и ч е с к и й — в данном случае — вошедший в обычай.

Т у з — лоскут в форме бубнового туза, который нашивали каторжникам на спину.

А д м и н и с т р а ц и я — лица, занимающиеся управлением, стоящие во главе какого нибудь дела.

И н с т р у к ц и я — указания, правила.

И н ц и д е н т — происшествие.

Ж а н д а р м ы — полиция.

Д и п л о м а т и я — отрасль государственной деятельности, ведающая сношениями с иностранными государствами; хитрость, увертки. В данном случае употреблено во втором значении.

Процесс — судебное разбирательство.
Бюрократия — чиновники.
Маршрут — путь.
Инициатива — почин.
Департамент — отделение министерства.
«Кресты» — тюрьма в Петербурге.
Административно-ссыльные — ссыльные, сосланные не по суду, а по распоряжению полиции.
Законспирировать — сохранить в тайне.
Пропаганда — распространение идей с целью привлечения единомышленников.
Режим — установленный порядок.
Оппозиция — сопротивление, противодействие.
Унтер — сокращенное от унтер-офицера — помощник офицера.
Тракт — дорога.
Протест — выражение несогласия.
Становой — сокращенное от «становой пристав» — полицейский чин.
Традиция — обычай, порядок, идущий из поколения в поколение.
Ефрейтор — военный чин, ниже офицера.
Комфортабельный — удобный, комфорт — удобство.
Темп — степень скорости.
Юрта — шатер из шкур у сибирских кочевников.
Остяки — народность Западной Сибири.
Цуг — упряжка лошадей гусем.

К у л ь т у р а — достижения человечества в различных областях жизни.

Т у р и с т — путешественник.

О р и е н т и р о в а т ь с я — разбираться в чем-либо.

Б у р а н — метель.

Ф и к т и в н ы й — мнимый, ненастоящий.

З ы р я н е — народность Западной Сибири.

Р е а л ь н ы й — действительно существующий.

Н а р т а — сани для поездок на собаках или оленях.

С у б ' е к т — личность.

Ч у м — переносный шалаш, служащий жилищем у кочевых народов Сибири.

М о т о р — механический двигатель.

А м н и с т и я — освобождение правительством от преследования или наказания.

А з а р т — увлечение.

П р и м и т и в н ы й — простой.

А б с о л ю т н ы й — безусловный.

Л а в и р о в а т ь — обходить препятствия.

И н и ц и а л ы — начальные буквы имени и фамилии.

С и л у э т — теневое изображение предмета.

С а к в о я ж — чемодан.

А р г у м е н т — довод, доказательство.

П а р л а м е н т е р — человек, посылаемый для переговоров.

Э к с п е д и ц и я — группа, едущая для исследования.

П р о е к т — предположение.

В о г у л ы — народность Западной Сибири.

К а д е т ы — буржуазная партия.

Акцизный чиновник — чиновник, собирающий налоги.

Государственная дума — палата депутатов в царской России, возникшая вследствие революции пятого года. Две первые думы в 1906 и 1907 г.г. были разогнаны царским правительством.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Молодым читателям . . . 3
Туда 5
Обратно 28
Об'яснение малопонятных слов 75

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ

„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

Москва, Новая площадь 6.

Общественно-политическая литература

А. Маймин.—Финансы и бюджет Советского Союза. Под редакцией В. Смушкова. Стр. 60, ц. 25 к.

К. Подсотский.—Учеба и быт Красной армии. Библиотека рабочей молодежи. Стр. 48, ц. 20 к.

Карл Либкнехт, его жизнь и борьба.—Сборник. С иллюстрациями. Стр. 86, ц. 45 к.

В. И. Ленин.—Каким должен быть комсомолец. Стр. 56, ц. 12 к.

Я. Шафир.—Куда ведут меньшевики. Стр. 63, ц. 40 к.

М. Барановская.—Америка в наши дни. Под. редакц. Г. Сандомирского. Стр. 90, ц. 55.

А. Онуфриев.—Морская авиация в гражданской войне. Под редакцией и с предисловием т. В. Зофа. Стр. 80, ц. 35 к.

И. Гордеев.—Что нужно знать комсомольцу о флоте. Стр. 69, ц. 40 к.

Социально-экономическая литература

И. Варейкис. Возможна ли победа социализма в одной стране. Стр. 125, ц. 35 к.

М. Вольфсон. Экономические формы СССР. 4-е изд., дополненное и исправленное. Стр. 134, ц. 35 к.

Алкин и Нолесс. Основы нашего производства. Стр. 104, ц. 1 р.

Сарабьянов. Простые беседы по экономике. Стр. 88, ц. 35 к.

Ф. Бердников и А. Светлов. Наша экономическая политика. Стр. 20, ц. 8 к.

Беленький. От нэп'а к социализму. Стр. 100, ц. 70 к.

В провинцию заказы высылаются **наложенным платежом** по получении аванса в размере 25% стоимости заказа. Организациям—**скидка**.

При внесении всей суммы заказа вперед—пересылка и упаковка за счет Издательства

25 коп. 19074
р
2р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
Москва, Новая пл., 6.

*

БИБЛИОТЕКА ЮНОГО ПИОНЕРА

СЕРИЯ „ИЗ ПОДПОЛЬЯ К ПОБЕДЕ“

В серию входят следующие книги:

Л. Троцкий.—Мой побег из Сибири (отрывок из книги „Туда и обратно“). Ц. 25 к.

В. Фигнер. — В погоне за царем Ц. 18 к.

В. Плеханов.—Первые шаги рабочего движения Ц. 30 к.

Д. Сверчков.—Первый совет. Ц. 25 к.

В. Костицын. — Декабрьское восстание. Ц. 14 к.

Ильич в подполье.

А. Енукидзе. — Таинственное подполье.

*

Подбор литературы для библиотек: пионерских, комсомольских, ленинских уголков, изб-читален и др. Большой выбор пионерского снаряжения, спортивных и канцелярских принадлежностей. В провинцию заказы высылаются наложенным платежом по получении аванса в размере 25% стоимости заказа. Организациям—скидка. При внесении всей суммы заказа вперед—пересылка и упаковка за счет Издательства.